

6p
1p50

МАРТЪ.

Р5
Р-89

1903.

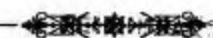
РУССКОЕ БОГАТСТВО

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ и НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

№ 3.

Издательство	М. П.
Изд. №	224
Изд. №	



С. ПЕТЕРБУРГЪ.

Полное название, 3.

№ 3594

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. Н. Кабукова, Пряжка, уг. Заводской, д. 1—3

1903.

СОДЕРЖАНИЕ:

	СТРАНИ.
1. Земля. Романъ, <i>А. М. Оедорова</i> (Продолженіе) . .	5—55
2. Последний Сонъ. Стихотвореніе <i>Е. Чернобаева</i> . .	55
3. Альменда въ ея экономическомъ и социальномъ значеніи. Проф. <i>Карла Бюхера</i> . Переводъ съ нѣмецкаго .	56—74
4. Въ „Проходной“. Очеркъ изъ фабричной жизни. <i>Н. Темнаго</i>	75—80
5. *.* Стихотвореніе <i>Г. Галиной</i>	80
6. Нерѣшенные проблемы биологій. Что такое жизнь? <i>В. В. Лунжевича</i>	81—108
7. Въ сумасшедшемъ домѣ. Очерки. <i>Гр. Бѣлорыцкаго</i>	109—162
8. *.* Стихотвореніе <i>Л. Андрусона</i>	162
9. Пепелище. Романъ. <i>С. Жеромскаго</i> . Переводъ съ польскаго <i>Н. Ю. Татарова</i> (Продолженіе) . . .	163—185
10. Очерки по исторіи цензуры. Очеркъ второй. „Коми- тетъ по дѣламъ книгопечатанія.“ <i>М. К. Лемке</i> .	186—212
11. *.* Стихотвореніе <i>Н. Шрейтера</i>	212
12. Земля обѣтованная. Романъ. <i>В. С. Реймонта</i> . Пере- водъ съ польскаго <i>Н. Ю. Татарова</i> . (Продол- женіе). (Въ приложеніи)	81—128
13. Юридическія консультаціи въ Россіи и рабочіе сенре- таріаты въ Германіи. <i>Мих. Бернштама</i>	1—33
14. Новый трудъ по исторіи императора Александра II. <i>А. Корнилова</i>	34—48
15. Изъ Англіи. <i>Діонео</i>	48—76
16. Новые книги: П. А. Евреиковъ, Стихотворенія. — М. А. Лохвицкая (Жи- беръ). Стихотворенія. — Вѣра. Одна изъ многихъ. — И. А. Шляпкинъ. Изъ неведанныхъ бумагъ А. С. Пушкина. — Матеріалы для академическаго изданія сочиненій А. С. Пушкина. Собралъ Л. Н. Майковъ. — В. О. Трохимовичъ. Письма о приличіи и стыдливости. — Афоризмы. — М. Г. Мор- гушевъ. Вопросы еврейской жизни. — Бернаръ Лаваръ. Со-	

(См. на оборотѣ).

- ціальныя задачи юдаизма и еврейскій вопросъ. — Паноль, А. В. Домашнія библіотеки. Опытъ составленія систематическаго указателя книгъ для самообразованія. — Проф. Ф. В. Благовидовъ. Этюдъ изъ исторіи высшаго образованія въ Россіи. — Проф. Левъ Мороховецъ, Исторія и соотношеніе медицинскихъ знаній. — Статистика движенія населенія въ Московской губерніи въ 1883—1897 гг. Санитарнаго врача П. И. Куркина. — Новыя книги, поступившія въ редакцію . 76—103
17. Къ началу весенняго отхода. *Н. Карышева*. 103—109
18. Наша текущая жизнь („Русская Мысль“ и „Вѣстникъ Европы“ за послѣдніе полгода). *В. Г. Подарскаго*. 109—141
19. Новыя варьяціи на старыя темы. *Н. А.* 142—149
20. Политика. Македонскія дѣла. — Французскія конгрегаціи. — Текущія событія. *С. Н. Южакова*. . . . 149—165
21. Хроника внутренней жизни. Мѣры къ усиленію сельской и городской полиціи. — Дѣло Шафрова и нѣкоторые другіе процессы. — Одинъ изъ современныхъ проектовъ. — II. Высочайшій манифестъ 26 февраля. — Правительственныя сообщенія. — Правительственныя распоряженія и сообщенія относительно Финляндіи. — Административныя распоряженія по дѣламъ печати. — Post-scriptum. — По поводу устава „Товарищества устройства и улучшенія жилищъ для нуждающагося трудящагося населенія“. *В. А. Мякотина*. 165—197
22. Отчетъ конторы редакціи.
23. Объявленія.

ровья и производительности ихъ труда? Развѣ не необходимо въ данномъ случаѣ вмѣшательство законодательства? И далѣе — развѣ не менѣе необходимо специальное законодательство, которое регулировало бы, подобно фабричному, и продолжительность рабочаго дня, и примѣненіе женскаго и дѣтскаго труда, и санитарную обстановку рабочихъ въ сельскомъ хозяйствѣ? — На эти и подобные вопросы, конечно, двухъ отвѣтовъ быть не можетъ. Насколько, однако, можно приблизиться къ разрѣшенію такихъ задачъ, дѣло иное, и разрѣшеніе его зависитъ отъ многихъ факторовъ, разсматривать которые въ бѣглой замѣткѣ, конечно, невозможно, но которые сводятся къ размѣрамъ общественной инициативы и самостоятельности и къ тому вліянію, которое послѣдняя можетъ оказать на законодательство.

Н. Карышевъ.

Наша текущая жизнь.

(«Русская Мысль» и «Вѣстникъ Европы» за послѣдніе полгода).

Въ ноябрьской и декабрьской книжкахъ „Русской Мысли“ помѣщена повѣсть „Быть или не быть?“ г. Н. И. Тимковского. Въ ней затронутъ не новый, но интересный сюжетъ человека, желающаго при помощи искусства служить жизни или, вѣрнѣе, тому идеалу, который онъ хочетъ воплотить въ жизнь, и не могущаго осуществить свою завѣтную мечту. Тема эта не разъ обрабатывалась и нашей, и заграничной литературой и даже въ той специальной области, куда перенесъ ее г. Тимковской: дѣло идетъ о живописцѣ. Нѣкоторыми сторонами своими, или прямо, или по закону контраста, „Быть или не быть“ напоминаетъ то „Портретъ“ Гоголя, то „Художниковъ“ Гаршина, то „Шедевръ“ Золя и т. д. Но это, разумѣется, еще ничего не говоритъ противъ самого сюжета повѣсти и лишь указываетъ на тѣ трудности, съ которыми приходится бороться автору, когда онъ берется за специальную въ извѣстномъ смыслѣ и въ то же время часто трактованную тему. Читателю, мало-мальски знакомому съ литературой, новое произведеніе на старую тему будетъ безпрестанно внушать желаніе сравнивать съ нимъ и противопоставлять ему прежнія художественныя обработки даннаго сюжета. Разумѣется, неизбѣжныя аналогіи темы не дадутъ еще права публикѣ обвинять автора въ плагиатѣ, и уже Мюссэ остроумно подсмѣялся надъ людьми, занимающимися этимъ историко-литературнымъ сыскомъ: „садить капусту—тоже своего рода плагиатъ“. Но во всякомъ случаѣ отъ

последующих писателей мы требуемъ, чтобы они внесли хоть какую-нибудь свою вариацию въ знакомый мотивъ.

Г. Тимковскій, — казалось намъ при прочтеніи первой половины повѣсти, — далъ нѣкоторую личную ноту, и его вещь должна наводить читателя на мысли, представляющія интересъ по сравненію съ безыдейными или, наоборотъ, претенціозно-глубокомысленными, а въ сущности пустыми сюжетами большинства современныхъ беллетристическихъ твореній. Но намъ пришлось если не вполне, то значительно разочароваться въ повѣсти, когда появилось и ея окончаніе. Дѣло въ томъ, что хорошо, по нашему мнѣнію, задуманный и недурно обрисованный въ началѣ типъ главнаго героя „Быть или не быть“ въ послѣдствіи расплылся въ неясную фигуру полу-психопата, который совершаетъ рядъ странныхъ поступковъ и на послѣднихъ страницахъ оставляетъ читателя въ большомъ недоумѣніи насчетъ смысла всей повѣсти.

Вареоломеевъ — имя героя — представляетъ собою идейнаго художника, который глубоко потрясенъ неправдою современныхъ людскихъ отношеній и хочетъ, по мѣрѣ силъ своихъ и прежде всего при помощи даннаго ему природой таланта, работать надъ измѣненіемъ этого гнетущаго все человѣчество склада вещей. Въ пылу разговора съ пріятелемъ, другимъ художникомъ, нашъ герой дѣлаетъ слѣдующую страстную исповѣдь и такъ опредѣляетъ цѣль своей работы:

Поди сюда, — промолвилъ Вареоломеевъ, глядя въ открытое окно. — Видишь этотъ чудовищный домъ? Онъ представляется мнѣ огромной каменной гробницей... Видишь этотъ рядъ безобразныхъ крылецъ съ грязными каменными лѣстницами? По нимъ вѣчно снуютъ хмурые убогіе люди, обиженные жизнью, грызущіе въ тѣснотѣ другъ друга, источенные нуждой, заботами, болѣзнями... А дѣти?.. Они рождаются отъ пьяныхъ, худосочныхъ родителей, они съ самаго рожденія становятся лишними... Ихъ появленіе на свѣтъ часто встрѣчается проклятіями, потому что и безъ нихъ тѣсно. Едва они подрастутъ, какъ ихъ, оборванныхъ, полуголодныхъ, выгоняютъ на дворъ изъ тѣсныхъ конуръ; они растутъ, какъ дворняжки, среди навоза и грязи, подъ градомъ пиньковъ, ругательствъ, угрозъ... Вотъ она, тяжесть жизни, давящая человѣка со всѣхъ сторонъ! Она всадъ, куда ни глянешь. Она слышится безпрестанно и въ уличномъ шумѣ, и въ фабричныхъ свисткахъ, и въ тяжеломъ дыханіи извозчичьихъ лошадей, и въ крикахъ, вырывающихся изъ надорванной груди человѣка... Какая-то бездушная сила придавила своей желѣзной лапой и тѣло, и душу человѣка. Но неужели не существуетъ иной силы, которую можно противопоставить этой? Если нѣтъ ничего сильнѣе каменныхъ стѣнъ, которыми обставленъ со всѣхъ сторонъ человѣкъ, то не стоитъ ни работать, ни жить. Если же есть такой рычагъ... если существуетъ сила, способная сдвинуть эту тяжесть, то мы должны отдать себя на служеніе ей, должны стать проводниками этой силы во всемъ: въ нашихъ картинахъ, словахъ, мысляхъ, страданіяхъ, поступкахъ, — во всей нашей жизни. Должны все принести ей въ жертву... Въ этомъ, и только въ этомъ вся цѣль нашей жизни! (ноябрь, стр. 94.)

Итакъ, предъ нами художникъ, который прежде всего хочетъ быть человѣкомъ, хочетъ вмѣшаться въ общественную жизнь,

идушую въ разрѣзъ съ его идеаломъ. Онъ надѣется на могущественное дѣйствіе этого идеала, — иначе личное существованіе представляется ему бесплоднымъ, прозябаніемъ. Въ самомъ художествѣ онъ видитъ лишь наиболѣе доступное для себя орудіе воздѣйствія на жизнь. Такъ, въ тотъ моментъ, когда начинается повѣсть, мы застаемъ его упорно работающимъ надъ картиной Христа, въ которомъ онъ хочетъ выразить типъ самоотверженной любви къ людямъ. Ему кажется, что, удайся ему какъ слѣдуетъ картина, она должна произвести сильное и благотворное дѣйствіе на всѣхъ тѣхъ, кто стремится выдти изъ рамокъ узко личнаго существованія и работать для другихъ; и эти наиболѣе живые и чуткіе люди, проникнувшись идеей художника, посвящаютъ себя великому общественному дѣлу. Можно, конечно, скептически относиться къ такому взгляду, чрезмѣрно преувеличивающему вліяніе отдѣльных, хотя бы и выдающихся произведеній человеческого творчества на ходъ общественной жизни. Но ему нельзя отказать въ извѣстной высотѣ и послѣдовательности. Дѣло въ томъ, что самъ артистъ, какъ видно изъ повѣсти, тщетно пытается передать холсту свой излюбленный идеалъ и невыносимо страдаетъ среди тщетныхъ бореній между художественной мыслью и ея внѣшнимъ выраженіемъ. Онъ, этотъ артистъ — неудачникъ, весь охваченъ сознаніемъ серьезнаго общественнаго долга, который исполняетъ, и съ этой точки зрѣнія оцѣниваетъ свою собственную и чужую дѣятельность.

Жажда служить идеалу не можетъ даже уложиться у него въ рамки чисто художественной работы; она переливается за предѣлы его специальности, и не только за мольбертомъ и съ кистью въ рукахъ, но въ людскихъ отношеніяхъ онъ преслѣдуетъ осуществленіе дорогихъ ему взглядовъ. У нашего художника натура нравственнаго пропагандиста, — понимая подъ этимъ выраженіемъ человѣка, для котораго моральные вопросы играютъ существенную роль, и который не можетъ обходить ихъ молчаніемъ въ сношеніяхъ съ другими людьми. Этотъ характеръ проповѣдника или, по крайней мѣрѣ, повѣреннаго чужихъ нравственныхъ сомнѣній и запросовъ придаетъ своеобразный отпечатокъ герою „Быть или не быть“. Особенно эта черта выступаетъ у него, когда ему приходится имѣть дѣло съ женщинами. Въ обыкновенную, „старую, но вѣчно юную исторію“ отношеній между обоими полами онъ вноситъ прежде всего эту потребность отыскивать въ другомъ человѣкѣ живую личность, вступать въ идейное общеніе съ ней, быть совѣтникомъ и исповѣдникомъ ея и, въ свою очередь, искать въ ней отзвука для своихъ нравственныхъ вопросовъ. Повидимому, эта нота является даже доминирующей въ его отношеніяхъ къ женщинамъ.

Такъ, въ теченіе нѣкотораго времени онъ былъ близко знакомъ съ женой богатаго купца, пьяницы и самодура, который

всячески тиранилъ ее и умеръ, наконецъ, оставивъ ее еще молодой интересной вдовой. И при жизни мужа, и первое время послѣ смерти его Павла Степановна—имя героини—находила живое удовольствие въ разговорахъ съ Вареоломеевымъ, и ея взбалмошная, временами почти циничная, но въ общемъ скорѣе испорченная средой, чѣмъ отъ природы дурная натура видимо просвѣтлялась и одухотворялась благодаря общенію съ живописцемъ. Для самого Вареоломеева она становилась дорога прежде всего, какъ живой примѣръ вліянія искренняго и серьезнаго человѣка на другого, до тѣхъ поръ подвергавшагося лишь развращающему дѣйствию некультурной обстановки и грубости окружающихъ: онъ любилъ ее, „какъ художникъ любить созданіе своихъ рукъ“ (ноябрь, стр. 100). Дошло-ли бы у нихъ до настоящей любви, такъ и осталось неизвѣстнымъ, потому что героиня вскорѣ послѣ того, какъ похоронила мужа, почувствовала потребность въ веселой и исполненной всевозможныхъ удовольствій жизни. И эта, очевидно, спавшая въ ней потребность проснулась съ удвоенной силой подъ вліяніемъ знакомства съ нѣкимъ Меленковскимъ, красивымъ, но удивительно пошлымъ и грязнымъ хлыщемъ, который, какъ и Вареоломеевъ, занимался живописью, за то, въ противоположность ему, ставилъ цѣлью своей артистической дѣятельности не служеніе идеалу, и даже не служеніе искусству, а зашибанье денегъ и прожиганье ихъ на обычный манеръ жуировъ и кутиль.

Вареоломеевъ съ глубокою болью въ сердцѣ уходитъ въ сторону, видя, какъ его нравственное воздѣйствіе ослабло, поколебалось и окончательно исчезло передъ уроками безпутнаго бонвивана, соблазнившаго молодую женщину перспективами вольной, веселой и безыдейной жизни. Такую же боль въ сердцѣ, хотя нѣсколько и по иному поводу,—Вареоломеевъ выносить изъ отношеній къ другой женщинѣ, а именно женѣ уже упомянутаго Меленковскаго. Тутъ нѣтъ даже и отдаленнаго намека на любовь: нашъ идеалистъ питаетъ чисто дружескія чувства къ бѣдной, оскорбляемой нравственно на каждомъ шагу женщинѣ, которая когда-то искренно любила своего мужа, долго прощала ему безпрестанныя похождения съ свѣтскими и полусвѣтскими дамами и просто смазливими горничными и, наконецъ, рѣшила какъ можно рѣже и меньше сталкиваться съ своимъ мужемъ. Потребность въ истинно человѣческой аффективной жизни сближаетъ ее съ Вареоломеевымъ, который понемногу становится ея лучшимъ другомъ и повѣреннымъ ея душевныхъ страданій и запросовъ. И, не смотря на комическій характеръ роли, которую въ представленіи большой публики играютъ люди, принадлежащіе къ психическому типу вѣчнаго „друга женщинъ“, Вареоломеевъ обрисованъ г. Тимковскимъ въ началѣ повѣсти настолько симпатично, что иронія кажется совершенно неумѣстной по отношенію къ этому серьезному, скорѣе сильному, чѣмъ слабому человѣку.

„Другъ женщинъ“, какъ извѣстно, смѣшонъ только потому, что онъ зачастую лишенъ мужества, энергіи, инициативы, которыя нравятся женщинамъ, и потому не столько по собственному желанію, сколько по неволѣ, въ силу этой психологической особенности, принужденъ ограничиваться дружбою, какъ суррогатомъ любви, въ которой ему отказываютъ женщины, за любовью обращающіяся къ другимъ мужчинамъ. У Вареоломеева нѣтъ этого малодушнаго желанія питать себя фальсификаціею любви; онъ просто настолько занятъ своими идеями, въ такой степени желаетъ проводить ихъ въ жизнь, что вопросы личной привязанности отступаютъ у него невольно на задній планъ. И онъ не смѣшонъ, когда даже въ отношеніяхъ къ женщинамъ ищетъ прежде всего повліять на встрѣтившагося ему человѣка, сдѣлать его, независимо отъ того, какого онъ пола, участникомъ въ служеніи идеалу. Точно также онъ не смѣшонъ, когда въ компаніи знакомыхъ художниковъ высказываетъ свои излюбленные взгляды на искусство, борясь и противъ тѣхъ, кто видитъ въ немъ самодеятельную цѣль, стоящую превыше всѣхъ задачъ жизни, и противъ тѣхъ, кто сводитъ его лишь на рабское отраженіе этой жизни или же настроеній художника, и, наконецъ, противъ тѣхъ, кто эксплуатируетъ искусство, какъ простое ремесло.

Любопытно, впрочемъ, что сцена этого спора между артистами является кульминаціоннымъ пунктомъ развитія симпатичной и цѣльной личности художника-идеалиста подъ перомъ г. Тимковскаго. Начиная съ этого момента, типъ героя повѣсти очерчивается, такъ сказать, все болѣе и болѣе странными и неожиданными штрихами, пока, наконецъ, читатель не замѣчаетъ, что передъ нимъ стоитъ несовсѣмъ нормальный субъектъ, который какъ бы самого же читателя проситъ разрѣшить его недоумѣнія и сказать ему, да что же онъ за человѣкъ. Такъ, во время товарищеской бесѣды Вареоломеевъ узнаетъ, что вдова отказалась отъ начатаго нашимъ художникомъ ея портрета только потому, что хлыщъ Меленковскій принялся, въ свою очередь, за этотъ портретъ, уже болѣе лстящій самолюбію самого оригинала. И, узнавъ это, Вареоломеевъ идетъ сейчасъ же къ купчихѣ, съ которой у него выходитъ столкновеніе, заканчивающееся сценой, гдѣ герой обнаруживаетъ гораздо больше нервности, чѣмъ силы: вдова бросаетъ ему деньги за недоконченный портретъ; художникъ рветъ полотно. И словно онъ разорвалъ не только этотъ портретъ, но и свою довольно цѣльную до сихъ поръ фигуру. Сила его личности будетъ все падать, нервность все возрастать, проявляясь то въ странныхъ выходкахъ, то въ настоящихъ приступахъ бѣшенства.

Послѣ окончательнаго разрыва съ купеческой вдовой, Вареоломеевъ желаетъ всецѣло посвятить себя работѣ надъ Христомъ, которой онъ придаетъ громадное значеніе: не даромъ еще раньше,

еще нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, онъ нарочно поселился на дворѣ громаднаго петербургскаго дома, биткомъ набитаго бѣднотой. Ему казалось, что картина человѣческихъ страданій, нищеты, невѣжества вдохновить его кисть, и онъ лучше сумѣетъ справиться съ своей задачей, нарисовать такого Христа, въ которомъ всѣ хорошіе люди увидѣли бы высшій типъ божественной любви къ несчастному человѣчеству. И вотъ, когда послѣ тщетныхъ усилій закрѣпить на полотнѣ мелькающій передъ нимъ образъ самоотверженнаго альтруиста, который полагаетъ душу за другихъ, художникъ-идеалистъ почувствовалъ, наконецъ, что его посѣтило настоящее вдохновеніе, что геній творчества водить его кистью и группируетъ дотолѣ непокорно расплывавшіяся черты въ одинъ гармоничный образъ, вдругъ въ этотъ самый моментъ громадный, кипящій бѣдняками дворъ огласился громкимъ воплемъ: „ой, папка! ой, мамка!“ То кричала маленькая дѣвочка, при видѣ отца, истязавшаго мать... Вдохновеніе исчезло: близость „униженныхъ и оскорбленныхъ“, которая, по плану Вареоломѣева, должна была облегчать его работу, назойливо вмѣшивалась въ художественный процессъ; дѣйствительность разрушала артистическую иллюзію... Какъ бѣшенный, нашъ идеалистъ сорвался съ мѣста, распахнулъ окно и дикимъ голосомъ заревѣлъ: „прочь отъ окна, негодная!“ Онъ бросился на кровать; въ его сердце закралось угрызеніе, зачѣмъ онъ обидѣлъ и напугалъ и безъ того несчастное существо; вдохновеніе больше не приходило. Промучившись недѣлю въ безплодныхъ потугахъ уловить снова отлетѣвшій образъ, Вареоломеевъ отправляется на дачу къ одному изъ знакомыхъ художниковъ.

Что происходило въ деревенской обстановкѣ, нечего долго рассказывать: на одинъ день воспрянувшій было Вареоломѣевъ почувствовалъ опять приступы тоски. Онъ видѣлъ, какое разстояніе отдѣляетъ его міровоззрѣніе отъ взглядовъ его товарищей по ремеслу; ему захотѣлось снова быть одинокимъ у себя въ Петербургѣ. Возвращаясь по желѣзной дорогѣ, онъ наталкивается на сцену изъ жизни все тѣхъ же заурядныхъ маленькихъ людей, сцену, въ которой ему приходится играть въ концѣ концовъ трагикомическую роль. У его сосѣдки, молодой дѣвушки, повидимому изъ мастерицъ или горничныхъ, были утащены деньги. Она расплакалась, собралась публика, явилась полиція. Желая помочь дѣвушкѣ, Вареоломеевъ хотѣлъ было предложить ей денегъ, но спохватывается, что у него нѣтъ ихъ при себѣ, и обращается съ просьбой одолжить къ случившемуся тутъ же Меленковскому, съ которымъ онъ, однако, уже пересталъ послѣднее время раскланиваться. Меленковскій, пользуясь случаемъ, строитъ планъ сейчасъ же увезти къ себѣ приглянувшуюся ему мастерицу и, пріѣхавъ въ Петербургъ, чуть не прямо съ вокзала усаживаетъ ее на извозчика. Дѣвушка слабо сопротивляется. Въ дѣло

выѣшивается Вареоломеевъ и скоро въ порывѣ нравственнаго негодованія бросается на Меленковского. Происходитъ безобразная свалка: Вареоломеевъ, отталкивая отъ дѣвушки Донъ-Жуана, отрываетъ ему рукавъ; Меленковский разбиваетъ ему до крови губы; Вареоломеевъ хочетъ размозжить палкой голову своему противнику, но вдругъ его охватываетъ чувство стыда, отвращенія, ужаса, и онъ опускаетъ палку. Меленковский уѣзжаетъ, а Вареоломеевъ идетъ, самъ не зная куда, рядомъ съ дѣвушкой. Между ними завязывается разговоръ, прерываемый со стороны Вареоломеева горькими думами о только что происшедшемъ. Изъ короткихъ вопросовъ дѣвушки, изъ ея соображеній вслухъ нашъ идеалистъ заключаетъ, что, вѣроятно, она сожалѣетъ объ укутившемъ богатомъ, повидимому, баринѣ. И вдругъ бѣшенство снова охватываетъ Вареоломеева, который обзываетъ дѣвушку и „дрянной лгуньей“, и „распутной“, а въ отвѣтъ получаетъ отъ нея „полоумнаго“ и „дурака блаженнаго“. Художникъ въ гнѣвѣ и негодованіи уѣзжаетъ къ себѣ.

Но на этомъ приключеніи многострадальнаго носителя идеала еще не кончены. Придя домой и проведя цѣлую ночь въ мучительной борьбѣ съ самимъ собой, то поддаваясь жаждѣ мести и рѣшаясь вызвать на дуэль Меленковского, то стараясь пробудить въ себѣ гуманныя чувства, Вареоломеевъ, наконецъ, одерживаетъ верхъ надъ ветхимъ Адамомъ мстительности и условнаго понятія о чести. Онъ бросаетъ взоръ на недоконченную картину Христа: съ полотна на него снова глянулъ носившійся передъ нимъ идеальный образъ, и художникъ ощутилъ страстное желаніе пойти къ Меленковскому, примириться съ нимъ и открыть ему смыслъ настоящей человѣческой жизни. Утромъ, когда жуиръ лежалъ еще въ кровати, къ нему явился Вареоломеевъ, весь переполненный стремленіемъ переубѣдить его, произвести въ немъ переворотъ. Но едва два врага перекинулись нѣсколькими фразами, едва въ отвѣтъ на возвышенныя и не совсѣмъ понятныя разсужденія Вареоломеева о необходимости всѣмъ стать союзниками въ борьбѣ со зломъ, Меленковский бросилъ нѣсколько насмѣшливыхъ замѣчаній, безумный порывъ гнѣва охватилъ все существо идеалиста... Одинъ мигъ—и вотъ онъ возлѣ своего врага, вотъ онъ хватаетъ его за горло, вотъ онъ бросаетъ его на коверъ, душить, бить... Лишь пронзительный крикъ прислуги привелъ въ себя разсвирѣпѣвшаго Вареоломеева, чуть было совсѣмъ не удушившаго того человѣка, къ которому онъ пришелъ съ самыми возвышенными мыслями.

Послѣ этого удивительнаго пассажа со своимъ героемъ, г. Тимковскій убираетъ его на нѣсколько мѣсяцевъ со сцены, и, когда занавѣсъ снова взвивается, мы присутствуемъ при разговорѣ художника съ навѣстившимъ его пріятелемъ. Гость пораженъ страннымъ равнодушіемъ Вареоломеева ко всему, о чемъ

заходить у нихъ рѣчь; а пріятель нашего художника затрогиваетъ нарочно вопросы, которые, по его мнѣнію, должны были сильно заинтересовать собесѣдника. Замужество вдовы, смерть жены Меленковскаго—все это скользитъ по поверхности души бывшаго идеалиста, едва вызывая односложныя замѣчанія. Когда разговоръ перешелъ на искусство, то Вареолomeевъ вяло признался, что у него нѣтъ теперь никакого идеала; что онъ пишетъ теперь машинально, потому что отчего не писать, когда дѣлать нечего другого, и когда все одинаково не интересно; но что онъ не можетъ во всякомъ случаѣ смотрѣть безъ отвращенія на уже написанныя вещи, а потому прячетъ ихъ въ ящики. Пріятель вынуждаетъ Вареолomeева показать ему послѣднія картины и, увидавъ ихъ, поражается, рядомъ съ проблесками крупнаго таланта, глубокой мизантропіей, отвращеніемъ къ человѣчеству, разлитымъ во всѣхъ этихъ произведеніяхъ. Добираются и до не оконченнаго Христа, которому на этотъ разъ художникъ придалъ свои глаза, но опять таки проникнутые такимъ глубокимъ, беспощаднымъ отвращеніемъ ко всему, проходящему передъ ними, что пріятель приходитъ въ ужасъ отъ этой художественной психологіи.

Изъ словъ временно разгорячившагося Вареолomeева оказывается, что это и есть его настоящее міровоззрѣніе, что раньше онъ лишь лгалъ на себя, что люди противны ему,—и все человѣчество вызываетъ въ немъ чувство физическаго омерзѣнія. Наконецъ, когда пріятель указываетъ въ этихъ болѣзненныхъ картинахъ на присутствіе нѣкоторыхъ проникнутыхъ искреннимъ идеализмомъ элементовъ, Вареолomeевъ не выдерживаетъ и признается, что мизантропія дѣйствительно не его послѣднее слово, а послѣднимъ словомъ будетъ вотъ что,—и при этомъ достаетъ небольшую, не конченную картину, которая изображала нервнаго, похожаго на самаго артиста молодого человѣка, готовящагося застрѣлиться въ своемъ рабочемъ кабинетѣ, среди книгъ и бумагъ, передъ Распятіемъ, въ то время, какъ подпись гласила: „Быть или не быть“.

Пріятель былъ пораженъ выраженіемъ мольбы, страха, мучительнаго недоумѣнія во взорахъ самоубійцы, прикованныхъ къ кресту и живо напоминавшихъ взглядъ самого Вареолomeева. Онъ попробовалъ было обнадежить изстрадавшагося душой человѣка, доказать ему, что онъ еще „носитъ въ себѣ мысль о великомъ“, и что, можетъ быть, онъ какъ разъ наканунѣ того момента, когда для него возгорится заря яркаго идеала. Но Вареолomeевъ долга молчалъ и, наконецъ, промолвилъ, что это не настанетъ для него раньше, чѣмъ онъ всѣмъ сердцемъ своимъ почувствуетъ Его... И снова взоръ его выражалъ мучительный вопросъ, свѣтившійся въ глазахъ самоубійцы на картинѣ „Быть или не быть“?!

Я передалъ все существенное изъ повѣсти г. Тимковского, и полагаю, что, подобно мнѣ, читатель остановится въ недоумѣніи передъ общимъ смысломъ этого произведенія. Что оно выражаетъ собою? Какъ истолковать этого незауряднаго человѣка, который такъ скоро, на глазахъ читателя ожесточается, совершаетъ рядъ дикихъ поступковъ, впадаетъ въ какое-то напускное равнодушіе, подъ которымъ скрывается неопредѣленная, но мучительная тоска по чѣмъ-то крупномъ и хорошемъ? Хочетъ-ли авторъ сказать, вмѣстѣ съ однимъ изъ дѣйствующихъ лицъ повѣсти, что художникъ долженъ быть художникомъ, а не „моралистомъ, философомъ, проповѣдникомъ“; что „для истиннаго художника дороги и интересны прежде всего краски, образы, картины, что бы они ни обозначали, какъ для музыканта звуки“. Но, не забудьте, авторъ влагааетъ это исповѣданіе искусства для искусства въ уста того самаго Меленковского, котораго онъ изображаетъ самыми непривлекательными чертами, и который подъ этой формулой скрываетъ на самомъ дѣлѣ одно стремленіе поддѣлываться подъ вкусы публики и зашибать себѣ деньгу.

Или автора надо понимать такъ, что въ сущности искусство должно бы проникаться высокими жизненными идеалами, но между этимъ общественнымъ элементомъ артистическаго творчества и его самостоятельной природой, находящей въ самой себѣ цѣль, есть внутреннее противорѣчіе, которое удастся разрѣшить лишь немногимъ привилегированнымъ мастерамъ, но которое фатально губить средніе таланты, бросая ихъ или въ сторону безыдейной игры красками и звуками, или въ сторону холоднаго выполненія заданной темы? Какъ ни смотрѣть на эту мысль, придется во всякомъ случаѣ сказать, что г. Тимковскій ввелъ нарушающій элементъ въ ея литературное выраженіе, изобразивъ своего героя ненормальнымъ человѣкомъ, или, по крайней мѣрѣ, такимъ, который скоро дѣлается ненормальнымъ подъ вліяніемъ не особенно понятныхъ для читателя причинъ. Не думаетъ же на самомъ дѣлѣ авторъ, что упомянутое противорѣчіе,—если оно вообще существуетъ, а оно врядъ ли существуетъ, такъ какъ въ немъ, напримѣръ, русская критика разобралась еще со временъ Добролюбова (вспомните начало его статьи „Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ“),—не думаетъ же, говоримъ мы, г. Тимковскій, что это противорѣчіе можетъ дѣйствовать такимъ гнетущимъ образомъ на средняго художника, что въ состояніи доводить его чуть не до формальнаго помѣшательства?

Или, наконецъ, авторъ просто хотѣлъ изобразить человѣка, одареннаго черезчуръ чувствительной организаціей, которая не выдерживаетъ упорнаго стремленія художника выразить въ конкретныхъ образахъ преслѣдующую его идею? И въ такомъ случаѣ мы, значить, имѣемъ дѣло съ жертвою своего собственнаго творческаго безсилія, въ родѣ злополучнаго героя „Шедевра“

Золя? Но тогда г. Тимковский осложняет свою задачу съ другого конца, рисуя намъ не просто художника, хотя бы и упорно носящаго известную идею, но человѣка, у котораго артистическія стремленія тѣсно переплетаются съ жизненными и входятъ лишь частными нитями въ пеструю и сложную ткань психологіи личности. Вообще какая-то двойственность лежитъ въ основаніи „Быть или не быть“ и мѣшаетъ опредѣленности впечатлѣнія и пониманію общаго смысла повѣсти. Странность душевнаго міра героя портитъ положительныя стороны произведенія г. Тимковского, которому удалось, напримѣръ, бѣглыми, но правдивыми чертами обрисовать типы нѣсколькихъ художниковъ,—въ числѣ ихъ,—спившагося таланта, богатой купеческой вдовы, ощутившей жадное желаніе „жизни“, какъ сочно выражалась она, ея безшабашной грузной сестры, ея поклонника Смурлова и прочихъ представителей, если можно такъ выразиться, зоологической психологіи.

Изображенію той же зоологической психологіи, скрашенной лишь внѣшнимъ глянцемъ культурности, посвящена, повидимому, повѣсть г. Боборыкина „Высшая школа“,—говорю повидимому, потому, что это произведеніе, помѣщенное въ январской и февральской книжкахъ „Русской Мысли“, еще не кончено. „Высшая школа“ это—говорю, опять таки, повидимому—сама жизнь, которая ставитъ одинъ за другимъ вопросы одной изъ представительницъ зоологическаго общежитія, именуемаго свѣтскимъ обществомъ, и цѣною душевной боли и страданій заставляетъ героиню повѣсти доходить до человѣческихъ отвѣтовъ на эти вопросы. Повѣсть написана въ видѣ дневника молодой и прекрасной, но беззаботной по части идей дамы, Натальи Петровны Узбековой, урожденной княжны Гадуровой, а во второмъ бракѣ графини Осининой, ибо послѣ семи лѣтъ совмѣстной жизни съ однимъ избранникомъ она развелась съ нимъ и вышла замужъ за другого избранника. Исторію развитія и, если можно такъ выразиться, очеловѣченія этого легкомысленнаго существа и должна, по всей вѣроятности, изображать „Высшая школа“, представляющая еще новую экскурсію г. Боборыкина въ область психологіи.

Въ послѣднее время нашъ плодовитый романистъ, какъ известно, не столько „ловитъ моменты“ общественныхъ настроеній, сколько разрабатываетъ психологическіе вопросы. И дѣлаетъ это, признаться, къ нѣкоторому огорченію читателей, которые съ удовольствіемъ и пользою слѣдятъ за живымъ и интереснымъ отраженіемъ нашего коллективнаго бытія въ общественныхъ произведеніяхъ г. Боборыкина въ родѣ „Перевала“ или „Василія Теркина“, или „На ущербѣ“, но очень умѣренно восхищаются боборыкинскою разработкою собственно душевнаго міра героевъ.

Для этого г. Боборыкинъ слишкомъ скользитъ по поверхности, въ чемъ, конечно, для нашего автора нѣтъ ничего обиднаго: всякіе таланты бываютъ, и сила художественнаго дарованія г. Боборыкина заключается въ широтѣ и разнообразіи наблюденій, а не въ глубинѣ ихъ. Мнѣ кажется, если бы нашъ романистъ отдалъ себѣ надлежащій отчетъ въ этой особенности своего таланта и соотвѣтственно съ этимъ избиралъ бы сюжеты для своихъ произведеній, то въ выигрышѣ остались бы и читатели, и самъ г. Боборыкинъ, который могъ бы дать полный ходъ своей описательной манерѣ и кинематографическому схватыванію дѣйствительности. Не потому-ли такъ и вялы сравнительно послѣднія вещи г. Боборыкина, что въ нихъ онъ перенесъ центръ тяжести на внутренній міръ героевъ?

Какъ бы то ни было, въ „Вышей школѣ“ мы имѣемъ дѣло съ психологической повѣстью и должны вслѣдъ за авторомъ ступать на почву душевнаго анализа. На первыхъ страницахъ героиня рисуется намъ существомъ, столь мало затронутымъ мыслью, что, пожалуй, могла бы удовлетворить тому идеалу „бычачьей“ глупости, котораго требуетъ отъ женщины извѣстный, вѣроятно, г. Боборыкину французскій поэтъ, откровенно признающійся, что ему нѣтъ дѣла ни до „сердца“, ни до „души“ милой, а нужно лишь ея „тѣло“:

Je te veux ignorante, ô femme, je te veux bête,
Bête à manger de l'herbe, et ne comprenant rien,
N'ayant rien dans le coeur, n'ayant rien dans la tête
Stupide comme un boeuf, soumise comme un chien!...
Que m'importe ton coeur? que m'importe ton ame?
Je n'aime que ta forme et ne veux que ta chair!

Во всякомъ случаѣ, если прелестная Тата не дошла еще въ своей глупости до того, чтобы „ѣсть траву“, то, какъ настоящее стадное животное, она ни на минуту не задумывалась надъ своею жизнью, продѣлывая все, что полагается по штату людямъ ея общества. Въ своемъ дневникѣ героиня признается, что ее не учили „размышлять“ въ дѣтствѣ, а слово „душа“ въ ихъ кругѣ соединялось обыкновенно со словомъ „моя“ и была простымъ обращеніемъ, не заключавшимъ въ себѣ никакого смысла: о душѣ никто не думалъ. Единственная черта, которую можно отнести къ области морали, а не рутинныхъ процессовъ животной, лучше сказать даже, растительной жизни, была правдивость героини. Этой правдивости она научилась у своей гувернантки-англичанки или „миссиньки“ (какъ выражается она вслѣдъ за суфлирующимъ г. Боборыкинымъ, который чрезвычайно любитъ всѣ эти словечки съ вывертомъ, въ родѣ „мусьяковъ“, „шалушекъ“, „мерехлюндій“ и, кажется, серьезно полагаетъ, что они придаютъ необходимый мѣстный колоритъ столь часто изображаемой

имъ французско-нижегородской средѣ). Но на одной правдивости далеко не уѣдешь: героиня въ 17 лѣтъ вышла замужъ за такого же, какъ она, богатаго, высокороднаго и свободнаго отъ постоя мысли обитателя общественныхъ верховъ и очутилась лицомъ къ лицу съ „вышей школой“ самостоятельной жизни. Сначала наша Тата блаженствовала съ молодымъ и красивымъ мужемъ, который былъ даже прозванъ „Нимвродомъ“ за страсть къ охотѣ и вообще всяческимъ спортамъ и увлекъ этимъ времяпрепровожденіемъ и жену. Къ несчастью, послѣ пяти лѣтъ такой жизни, крупное состояніе обоихъ супруговъ потерпѣло значительныя аваріи, причиною которыхъ была въ особенности покупка конскаго завода, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше увеличивались бреши въ семейномъ бюджетѣ.

На восьмомъ году этой семейной жизни, достойной гомеровскихъ лотофаговъ, — дѣтей у четы не было — „Нимвродъ“ изъ ловца звѣрей превратился въ ловца человѣковъ, войдя въ компанію съ нечистоплотными аферистами. Онъ такъ быстро покатился по этой наклонной плоскости, что его ничего не подозрѣвавшая жена была ошеломлена, когда ей вдругъ представили фальшивый вексель мужа, поддѣлавшаго ея подпись. Послѣ гаденькой сцены слезъ и испрашиванья прощенія у своей Таты, мужъ, конечно, не остановился въ своемъ паденіи и сталъ Альфонсомъ богатой купчихи. На сей разъ жена не выдерживаетъ, рветъ окончательно съ своимъ „Нимвродомъ“ и добивается развода цѣною грязной процедуры, о которой она безъ содроганія не можетъ даже вспомнить; а отъ крупнаго состоянія у нея не остается ничего. Первый курсъ „вышей школы“ пройденъ. Начинается второй, который Татѣ приходится проходить подъ руководствомъ новаго профессора. Имъ является второй ея мужъ, изящный эстетъ, моралистъ, сверхчеловѣкъ, спиритъ, кантіанецъ, ничшеанецъ, буддистъ, шопенгауэристъ, и т. п., — короче сказать, графъ Валерій Петровичъ Осининъ...

Вѣроятно, читатель остановитъ меня здѣсь и выразитъ свое удивленіе по поводу страннаго сочетанія эпитетовъ, которыми я пытался охарактеризовать личность новаго наставника Таты. Но я принужденъ укрыться за непочтительную, но энергичную русскую поговорку: „Люди ложь, и мы тожь“. Я здѣсь не при чемъ, такъ какъ моя характеристика столь многограннаго графа представляетъ лишь сокращенное указаніе примѣтъ, изъ которыхъ слагается умственная фیزیомія героя согласно самому тексту повѣсти г. Боборыкина.

Такъ, съ одной стороны, нашъ Валерій Петровичъ „читаетъ Канта“ и даже „его настольная книга по нѣмецки — „Критика чистаго разума“. Ждешь, конечно, поэтому, что въ области практическаго разума философическій графъ стоитъ за категорическій императивъ и его по нѣмецки тяжеловѣсную формулу: „по-

ступай такъ, чтобы максима твоей воли служила вмѣстѣ съ тѣмъ принципомъ всеобщаго законодательства“. И вдругъ вмѣсто этого положенія кенигсбергскаго ригориста „у Валерія оказывается,—повѣствуетъ намъ плѣненная ученостью мужа Тата,—совершенно свой взглядъ на то, что называется *добромъ* и *зломъ*, *правомъ* и *обязанностью*“. И взглядъ этотъ таковъ:

снисходительнѣе, терпимѣе къ слабостямъ и порокамъ нельзя быть болѣе, чѣмъ онъ. Ни въ кого онъ не броситъ камень и—въ этомъ смыслѣ—онъ на высотѣ евангельскаго всепрощенія. Только онъ требуетъ, чтобы никто не носилъ маски. чтобы всѣ прямо и открыто были тѣмъ, что они есть на самомъ дѣлѣ, (февраль, стр. 9).

Не смотря на упоминаніе всеу евангельскаго всепрощенія, тутъ сіятельный графъ рисуется скорѣе ученикомъ Ничше, который, какъ извѣстно, именно требуетъ, чтобы люди развивали по возможности въ чистомъ видѣ, „прямо и открыто“, жизненную энергію, независимо отъ ея направленія, культивировали „волю ко власти“ (Wille zur Macht), создавали новыя психическія „цѣнности“, отдавались не только хорошимъ, но и „дурнымъ страстямъ“, комбинировали въ жизни радости и горести, истину и иллюзію и презирали всякую „мораль рабовъ“, какъ и всякій вообще опредѣленный кодексъ нравственности. И, дѣйствительно, прихвастнувъ Татѣ, что Ничше, „для меня уже тамъ, позади“, Валерій тѣмъ не менѣе выпаливаетъ въ свою ученицу такой ничшеанской фразой, отъ которой у милой дамы даже „по всему тѣлу пошли мурашки вродѣ сладкаго щекотанья“: „смѣшно устанавливать для всѣхъ людей и на всѣ времена правила морали... Что такое добро, что зло, не то исконное и неизбыточное, а формальное, сочиненное?“ А когда Тата добивается болѣе подробнаго объясненія, то между мужемъ и женой возникаетъ даже слѣдующій чуть не платоновскій діалогъ:

— Ты, Валерій, встаки не врагъ условной морали?—настойчивѣе спросила я.

— Безусловно!

— Чѣмъ же ее замѣнить?

— Тѣмъ, что тебѣ, въ данную минуту, кажется простымъ и законнымъ.

— Это хорошо въ теоріи, но когда дѣло дойдетъ до настоящей жизни...

— Ты можешь меня поймать... Даю тебѣ *carte blanche*.

Глаза его скосились на меня. И въ голосѣ дрогнули жуткія для меня струны.

— И ты способенъ былъ бы перешагнуть всякую—*convention*, даже если поступокъ будетъ прямо дурной или нечестный?

Голосъ мой тоже завибрировалъ.

— Не знаю. Я ничего не стану рѣшать впередъ. Ручаться за себя никто не можетъ и не долженъ (стр. 23).

Но дальше на этой морали сверхчеловѣка сіятельный философъ сталъ уже строить еще какую-то теорію насчетъ того, что „всѣ мы—сколько насъ ни есть на свѣтѣ—только *ипостась*

живыхъ существъ“, и что у „высшихъ организмовъ на Марсѣ“ должна быть своя мораль. Отъ этихъ словъ Татѣ стало „еще жутче“ („вотъ, напримѣръ, металлъ, каково слово?“—какъ грозно вопрошаетъ у Островскаго приказный перетрусившую купчиху). А читатель, котораго этими жупелами не напугаешь, соображаетъ, что блистательный Валерій если и не спирить, то вродѣ этого, ибо вѣрить въ возможность „проникать черезъ матеріальныя преграды“ (ibid., стр. 21). Читатель начинаетъ припоминать, что еще одной-двумя страницами раньше философическій графъ развивалъ что-то въ родѣ плохо понятаго шопенгауэризма („если бы чело-вѣчество захотѣло — сразу все — побороть въ себѣ волю жить“, стр. 18), а еще страницей выше впадалъ въ наивное манихейство:

Этотъ предвѣчный духъ, по своему соизволенію... выдѣлитъ изъ себя одинъ элементъ всего сущаго... То, что мы называемъ матеріей или силами... какъ хочешь... И начался хаосъ...

Онъ выговорилъ это слово такъ, что я даже вздрогнула (стр. 16).

Бѣдная Тата! „хаосъ“—каково слово, каковъ металлъ? Поневолѣ прерываешь цитату и ждешь, пока пройдетъ у дамы метафизическая дрожь.

Хаосъ,—повторилъ Валерій, — такой же безконечный, но уже лишенный блаженства, гармоніи, уже носящій въ нѣдрахъ своихъ зло и страданіе...

— Зачѣмъ?—не удержалась я.

— Зачѣмъ? — Я не знаю! Но это такъ. Мы всѣ обречены на эти два исчадія духа тьмы. И ты не обижайся, Тата. Этотъ элементъ, отдѣленный отъ начала вѣка—женскій (стр. 17). И т. д. и т. д.

Итакъ, вотъ: теперь мы уже забрались въ ученіе о борьбѣ двухъ началъ, и самовѣйшій мыслитель, приводящій Тату въ трепетъ своею оригинальностью, угощаетъ насъ вещами, которыя насчитываютъ столѣтій этакъ семнадцать существованія и противъ которыхъ боролся уже блаж. Августинъ. Правда, въ качествѣ „стильнаго кавалера“ нашъ герой превратилъ князя тьмы, *tenebrarum principem*, манихейства въ женское начало; но это уже данъ тому *l'éternel féminin*, которое столь часто упоминаютъ въ своихъ разговорахъ франко-нижегородцы. Спрашивается, что прикажете думать читателю о второмъ профессорѣ „вышей школы“, которому г. Боборыкинъ приписываетъ, однако, сильное интеллектуальное вліяніе на супругу и котораго ему хочется нарисовать необыкновенно интереснымъ субъектомъ? Не то ли, что это, повидимому, такой же попугай и снобъ, какой глаза намъ намозолить въ различныхъ разновидностяхъ двуногихъ особей зоологическаго общежитія?..

Смѣшно, конечно, къ дѣйствующему лицу повѣсти предъявлять же требованія, что и къ философскому трактату; и не этотъ экзаменъ интересуетъ насъ въ личности Валерія. Но г. Боборы-

кинъ пишетъ повѣсть, главный интересъ которой заключается не во внѣшнихъ событіяхъ, а въ развитіи внутренняго міра героини, внѣшнія же событія являются лишь вѣхами этого развитія. Съ другой стороны, г. Боборыкинъ не безъ удовольствія останавливается на мысляхъ, чувствованіяхъ, идеяхъ и общемъ міровоззрѣніи героя, который, какъ видно изъ повѣсти, заставляетъ впервые серьезно задумываться свою легкомысленную супругу. Вотъ намъ и захотѣлось поближе посмотрѣть, что же собственно представляетъ собою этотъ развиватель. И оказалось, что такого сумбура, да еще приправленнаго самомнительными претензіями, какой царитъ въ головѣ графа Осинина, не скоро отыщешь даже во взглядахъ людей его среды. Тѣ хоть по большей части живутъ попросту, какъ полагается имъ жить, и не выдаютъ себя за мыслителей. Валерій же носитъ свою голову положительно словно драгоценный сосудъ, и надо быть Татой, чтобы испытывать метафизическую „дрожь“ и идейную „сладкую щеколку“, когда профессоръ разряжаетъ свою философскую митральезу въ присутствіи ученицы. Можно, пожалуй, предположить еще одно: г. Боборыкинъ захотѣлъ подсмѣяться надъ мыслителями изъ лагеря лотофаговъ и въ самомъ восхищеніи Таты умомъ и чувствами мужа нашелъ лишь новый приѣмъ тонкой ироніи. Къ сожалѣнію, эта иронія настолько тонка, что прямо незамѣтна для невооруженнаго глаза; и, наоборотъ, временами самъ беллетристъ, повидимому, искренно восторгается интеллектомъ своего литературнаго созданія.

Во всякомъ случаѣ, глубокомысленный Валерій не удерживается на высотѣ своего сверхчеловѣческаго пьедестала и на послѣднихъ страницахъ появившейся части „Высшей школы“ ведетъ себя ничѣмъ не лучше, чѣмъ велъ бы себя какойнибудь „Нимвродъ“. Дѣло началось было по возвышенному: Валерій и Тата, гуляя на Ривьерѣ, встрѣтились съ прелѣпой—разумѣется „стильной“ — красавицей, и это видѣніе такъ поразило нашего глубокомысленнаго эстета, что онъ даже разразился передъ своей супругой тирадой, на тему, что надо умѣть „любить любовь“, но обыкновенные смертные не способны на это. Желая доставить своему супругу удовольствіе, Тата сама облегчала возможность Валерію познакомиться съ красавицей; но когда это случилось, заревновала, обидѣлась, не согласилась протянуть руку прекрасной незнакомкѣ. Наоборотъ, Валерій такъ быстро успѣлъ „полюбить любовь“, что черезъ нѣкоторое время рѣшилъ нестись за богиней въ Россію,—богиня была, повидимому, актрисой,—а за Валеріемъ понеслась на родину и самоотверженная Тата, желая спасти своего трансцендентнаго супруга отъ опасности черезчуръ сильнаго увлеченія дѣвой.

Въ Петербургѣ любовь Валерія росла еще быстрѣе, и, наконецъ, въ одно прекрасное утро Тата узнала, что ея сверхчело-

вѣкъ взялъ крупный кушъ изъ банка — у Валеріа было свое довольно большое состояніе, тогда какъ у Таты не осталось ничего,—и повергъ этотъ кушъ къ ногамъ богини. А вскорѣ послѣ этого Тата была поражена зрѣлищемъ Валеріа, вбѣжавшаго въ ея комнату въ жалкомъ полубезумномъ видѣ и катавшагося съ плачемъ по полу, жалуюсь своей супругѣ на жестокость дѣвы, которая не хочетъ больше его принимать, такъ какъ предпочла ему, „стильному“ эстету, богача-купца. Бѣдная Тата! каковъ репримандъ неожиданный! Но даже и сторонній человѣкъ, напр. читатель, не безъ огорченія смотритъ, какъ нашъ кантіанецъ, ничшеанецъ, шопенгауэристъ и какъ еще его тамъ, превращается въ самого зауряднаго ухаживателя, которому не повезло и который распускаетъ нюни. Дѣйствительно, раньше, когда безукоризненный Валерій говорилъ о свободѣ отъ обыкновенной морали, о хожденіи по ту сторону добра и зла или о манихейскомъ принципѣ страданія, то читателямъ могло казаться, что и въ перипетіяхъ личной жизни онъ долженъ быть головою выше обыкновенныхъ смертныхъ и обращаться къ гордому духу зла съ гордыми же словами *à la* Кардуччи:

Salute, o Satana,
O ribellione,
O forza vindice
Della ragione!...

И вдругъ, вмѣсто братскаго гимна Сатанѣ — вхлипываніе на жоврѣ и рванье волосъ, и—какъ оказалось изъ хнычущаго разговора съ Татой—расточеніе своего состоянія на покушныя ласки дѣвы, и отчаяніе, что нашелся болѣе солидный покровитель. Сверхчеловѣкъ проснулся нѣсколькими днями позже, но проснулся на словахъ, а не на дѣлѣ, и читатель удивляется, почему именно послѣ этихъ, въ сущности бравирующихъ пустотой, словъ Тата рѣшила порвать съ Валеріемъ и всѣми его „стилями“. А слова эти были вотъ какія и вотъ по какому поводу. Пріятельница Таты, Шура Чадурова, возмущенная сверхчеловѣческимъ поведеніемъ эстета, завела какъ-то въ присутствіи мужа и жены разговоръ о модномъ процессѣ, истязательствѣ бѣдной дѣвочки ея воспитателемъ. Валерій счелъ долгомъ замѣтить (чтобы благоудивить дамъ?), что въ сущности лишь „филистерская мораль“ можетъ осуждать истязателя, и что его можно защищать, разъ онъ находитъ для себя нѣчто „привлекательное“ въ этомъ мучительствѣ, потому, видите-ли, что „есть разныя душевныя состоянія... требующія особыхъ возбужденій“. Чадурова въ негодованіи удалась; Тата заперлась у себя въ комнатѣ и рѣшила разойтись и со вторымъ своимъ профессоромъ „вышей школы“. На этомъ обрывается пока повѣсть, и читатель спрашиваетъ себя: почему именно эти слова такъ возмутили Тату? Вѣдь, въ сущности, это

лишь частное примѣненіе тѣхъ самыхъ взглядовъ Валерія, которые въ теченіе года совмѣстной жизни бросали нашу дамочку то въ „дрожь“, то въ „сладкую щекотку“. Затѣмъ, эстетъ говорить, а вѣтеръ носить: сверхчеловѣкъ до сихъ поръ не проявилъ на дѣлѣ никакихъ злодѣйствъ; а его поведеніе съ дѣвой, катанье по полу и соренье деньгами отнюдь не относится къ области поступковъ, находящихся по ту сторону добра и зла, но, наоборотъ, очень часто практикуется людьми, живущими обыкновенной традиціонной моралью лотофаговъ. Правда, онъ признавался въ своихъ дѣяніяхъ женѣ; но вѣдь это скорѣе показываетъ, что нашъ сверхчеловѣкъ былъ не крупныхъ злодѣемъ, и даже вовсе не злодѣемъ, а дряннымъ и слабымъ эгоистомъ, маленькимъ и жалкимъ человѣкомъ, молившимъ о поддержкѣ и сочувствіи то самое существо, которое онъ же оскорблялъ въ лучшихъ чувствахъ.

Слова были, точно, возмутительны. Но, разобравши уже своего мужа, Тата должна была бы понять, что это именно такія слова, которыми эстеты любятъ пугать средняго обывателя. Сказываютъ, что Бодлэръ, въ которомъ декаденты видятъ отчасти одного изъ своихъ отцовъ, любилъ подшучивать надъ своими восторженными поклонниками, и когда кто-нибудь изъ новыхъ цѣнителей приходилъ къ нему знакомиться, онъ молча приглашалъ его садиться. Но лишь только поклонникъ опускался на кресло, Бодлэръ самымъ трагическимъ голосомъ восклицалъ: „несчастный, не на это, не на это! Что вы сдѣлали? Вѣдь вы сѣли на моего покойнаго отца! Я его кожей обтянулъ это кресло“. Разумѣется, ошеломленный гость взвивался подъ потолокъ, а Бодлэръ смѣялся надъ своей сатанинской шуткой. Нѣчто въ родѣ этой шутки эстетъ Валерій продѣлалъ и надъ дамами, и нужна было наивность Таты и Шуры, чтобы принять въ серьезъ апологію мучительства.

Есть, впрочемъ, еще одно соображеніе,—и имъ мы закончимъ пока разборъ „Вышей школы“—а именно относительно самого характера Валерія. Дурно или хорошо, но, повидимому, г. Боборыкинъ очень старался представить эстета въ загадочно-привлекательномъ свѣтѣ на первыхъ порахъ его появленія. Мы уже видѣли, какою массою философическихъ обрывковъ авторъ зарядилъ своего изящнаго героя, и читатель повѣсти найдетъ, что и въ смыслѣ практической морали г. Боборыкинъ потрудился надъ сверхчеловѣкомъ, стараясь совершенно выдѣлить его сознательностью изъ міра „Нимвродовъ“. Спрашивается, почему нашъ эстетъ является, наоборотъ, такимъ обыкновеннымъ рутиннымъ существомъ, какъ только его затронулъ мало-мальски сильный аффектъ, и почему это нравственное крушеніе происходитъ съ нимъ какъ разъ въ той области, гдѣ онъ долженъ былъ, такъ оказать, по спеціальности быть „по ту сторону“ обычныхъ пріемовъ своей среды, а именно въ области восхищенія красотой.

Неужели уметь „любить любовь“—значить, подобно всѣмъ „Нимвродамъ“, кататься по полу и заливаться слезами, когда дѣло не выгорѣло, а для того, чтобы оно выгорало, прибѣгать къ денежной артиллеріи? По нашему, Валерій смѣшонъ и въ началѣ, но все же тутъ г. Боборыкинъ видимо старался сдѣлать его не смѣшнымъ; а затѣмъ Валерій является такимъ типичнымъ представителемъ франко-нижегородцевъ, что трудно даже себѣ представить, чтобы то былъ тотъ самый сверхчеловѣкъ. Откуда эта надломанность типа? Или опять-таки это результатъ тонкой-претонкой ироніи г. Боборыкина, который умышленно пытается заинтересовать читателя философическимъ графомъ въ первой части, чтобы вскрыть ничтожество этого эстета во второй? Какъ ни какъ, пробужденная нашимъ сверхчеловѣкомъ къ сознательной жизни, Тата возмущается и вторымъ профессоромъ „высшей школы“. Удастся-ли легкомысленной дамѣ добраться до истинно человѣческаго взгляда на жизнь?

Такъ какъ мы заняты г. Боборыкинымъ, то оставимъ на время „Русскую Мысль“ и обратимся къ другой повѣсти того же автора, напечатанной уже въ „Вѣстникѣ Европы“, а именно въ январьской книжкѣ за этотъ годъ, подъ заглавіемъ „Законъ жизни“. Это тоже экскурсія г. Боборыкина въ психологическій міръ, и экскурсія, можетъ быть, еще менѣе интересная, чѣмъ „Высшая школа“. Тема, затронутая авторомъ въ этомъ произведеніи, столько разъ подвергалась литературной обработкѣ, что надо что-нибудь дѣйствительно свѣжее и сильное, чтобы устранить впечатлѣніе уже видѣннаго и пріѣвшагося. Жила-была прекрасная чета, — онъ, молодой и талантливый профессоръ, она очаровательная полуфеминистка. Супруги очень любили другъ друга, и любили тѣмъ болѣе, что дѣтей у нихъ не было, ибо дѣтей они, наоборотъ, не любили и имѣть не желали. Эта профессорско-феминистская идиллія длилась уже третій годъ. Но увы! какъ гласитъ поговорка, распространенная между бѣдными чиновниками: „нѣтъ денегъ передъ деньгами, нѣтъ дѣтей передъ дѣтьми“. Въ одно прекрасное утро супруга почувствовала себя нездоровой, и приглашенный докторъ констатировалъ беременность. Прощай идиллія: супруга не можетъ больше ѣздить по пріютамъ и на засѣданія различныхъ обществъ; а супругъ вовсе пріунылъ и сталъ очень скверно читать лекціи.

Но тщетны мечты, бесполезны молибы
Противъ строгихъ законовъ судьбы!..

А „законъ жизни“ изъ законовъ законъ. Упорствуй, не упорствуй, онъ тебя все равно предоставитъ въ то мѣсто, куда надо по чину естества. И черезъ положенное число мѣсяцевъ — хо-

лостой апартаментъ супруговъ Ясоновыхъ огласился крикомъ маленькаго сына. Это появленіе новаго существа совершило психологическое чудо: мать, которая во время беременности была очень недовольна сюрпризомъ природы, вдругъ сейчасъ же послѣ рожденія вспылала любовью къ младенцу и, замѣтивъ холодность мужа, стала „молиться наединѣ въ храмѣ“ материнскаго чувства. Но и мужъ сначала было посопротивлялся, а затѣмъ и самъ тоже размякъ, замѣтивъ страстную любовь матери къ сыну, и вотъ, послѣ нѣсколькихъ эгоистичныхъ колебаній, онъ сдается на капитуляцію передъ „закономъ жизни“, нѣжнымъ поцѣлуемъ давъ женѣ понять, что онъ принимаетъ новое положеніе вещей. Дѣлаетъ онъ это безъ особаго восторга—„такъ будетъ лучше“, говоритъ онъ шопотомъ, который подслушалъ романтистъ,—но лиха бѣда начать: будемъ надѣяться, что слѣдующіе разы „законъ жизни“ будетъ соблюдаться профессоромъ съ большею готовностью жертвовать своими личными удобствами здоровью и счастьемъ молодого поколѣнія. Аминь!..

Я уже сказалъ раньше, что эта повѣсть невольно вызываетъ въ памяти аналогичныя же тезы. „Законъ жизни“ сбивается—и сбивается не къ своей выгодѣ—то на психологію героевъ Толстого (чета Пьера и Наташи Безуховыхъ въ „Войнѣ и Мирѣ“, Китти и Левина въ „Аннѣ Карениной“), то на чувствованія одного изъ героевъ Эдуарда Рода, обработавшаго сходный нѣкоторыми сторонами сюжетъ въ романѣ, носящемъ даже близкое названіе „Смыслъ жизни“ (*Le sens de la vie*; см. особенно начало второй книги: „Paternité“). Тутъ и проза жизни, которая врывается вмѣстѣ съ дѣтьми, и развѣнчиваніе поэтическаго чувства любви между мужчиной и женщиной, среди пеленокъ и крика. Но тутъ же и развитіе альтруистическихъ чувствъ, хотя бы въ узкой сферѣ выращиванія своей молодежи; тутъ же и приобрѣтеніе „смысла жизни“ путемъ умноженія нитей, которыя связываютъ человѣка съ окружающими. Всѣ эти ассоціаціи идей еще болѣе портятъ впечатлѣніе отъ слабой повѣсти г. Боборыкина, которому мы желаемъ возвратиться къ общественнымъ темамъ и изображенію современныхъ теченій.

Отъ культурныхъ людей верховъ общества мы переходимъ къ тѣмъ, кто поддерживаетъ на себѣ всю эту пирамиду, и кто у насъ, въ медленно развивающейся Россіи, отождествляется въ громадномъ большинствѣ случаевъ съ крестьянствомъ. Теперь все чаще и чаще начинаютъ раздаваться жалобы, что если прежде наша „народническая“ литература насквозь провоняла мужикомъ, то въ послѣднее время этого мужика совсѣмъ почти отсюда изгнали, оставивъ его развѣ на задворкахъ словесности. Теперь критика начинаетъ отдавать себѣ отчетъ, что въ сущности послѣ Успенскаго изученіе крестьянства совершенно остановилось. И

вмѣсто художественнаго изображенія его коллективной психологій мы въ лучшемъ случаѣ встрѣчаемся или съ микроскопическими бытовыми картинками изъ мужицкаго быта, или кой съ какими беллетристическими обобщеніями, на которыхъ лежитъ отпечатокъ предвзятой мысли. Да и такихъ одностороннихъ обобщеній очень мало. Последнимъ возбуждившимъ сенсацию произведеніемъ этого рода были, если не ошибаюсь, „Мужики“ г. Чехова. Но эта сенсация была вызвана причиною, не зависѣвшею отъ таланта или проницательности автора: въ жесткомъ приговорѣ г. Чехова надъ крестьянами, подвергнувшимися подъ его художественный объективъ, модная въ то время теорія русскихъ „марксистовъ“ усмотрѣла нѣчто въ родѣ соціологическаго откровенія. Когда талантливому беллетристу „казалось“,—и, замѣтите, казалось въ нѣкоторые „часы и дни“,— что „эти люди живутъ — хуже скотовъ“, что „жить съ ними было страшно“, то хоръ „учениковъ“ разражался восторженнымъ гимномъ въ славу писателя, который, молъ, наносилъ такой чувствительный ударъ иллюзіямъ „народничества“.

При этомъ нашими любителями „діалектики“ забывалось какъ разъ одно изъ основныхъ положеній ихъ доктрины, а именно, что лишь завзятый метафизикъ можетъ отвѣчать на любой самый сложный вопросъ категорическимъ „да“ или не менѣе категорическимъ „нѣтъ“, но что для заправскаго марксиста-діалектика отвѣтъ долженъ быть „и да, и нѣтъ“, или „ни да, ни нѣтъ“,—словомъ, долженъ указывать на сочетаніе въ общественномъ явленіи противорѣчивыхъ элементовъ, сосуществованіе и борьба которыхъ именно и опредѣляютъ возможность „становленія“ и „развитія“. Благодаря своему метафизическому взгляду, наши марксисты мало того, что разъ навсегда—при всевозможныхъ мыслимыхъ условіяхъ—отказались видѣть собственно въ крестьянствѣ способный къ прогрессу факторъ, отвѣтивъ категорически „нѣтъ“ и такимъ образомъ лишь перегнувъ категорическое „да“ народничества 70-хъ годовъ,—но они смѣшали въ одну кучу всѣхъ мыслителей и дѣятелей, которые не слѣдовали за ними, и всѣхъ ихъ подвергли остракизму подъ однимъ общимъ названіемъ „народниковъ“.

А между тѣмъ этой общей проскрипціи, которую учинялъ литературный *coup d'Etat* нашихъ „учениковъ“, подвергались такіе, напр., противоположные писатели, какъ Успенскій и Каблицъ-Юзовъ (чтобы говорить только о сошедшихъ со сцены),—Успенскій, который отличался необыкновенно трезвымъ и реальнымъ взглядомъ на крестьянство, и Каблицъ, который въ „Недѣлѣ“ обвинялъ Успенскаго въ прямой клеветѣ на народъ и такъ и величалъ его „либераломъ“, пишущимъ „о сѣромъ мужикѣ“. И, однако, если Каблицъ въ своей апологіи крестьянскихъ воззрѣній доходилъ до Геркулесовыхъ столбовъ, то Успенскій такъ далеко продвинулся въ глубокомъ анализѣ крестьянской психологій, что

даже и съ точки зрѣнія „экономическаго матеріализма“ ни одинъ изъ русскихъ „учениковъ“ не далъ ничего болѣе сильнаго и безстрашно-правдиваго. Помните въ его „Власти земли“ необыкновенно умныя, почти геніальныя соображенія насчетъ природнаго совершенства организаціи „галки“, поставленной въ свои нормальныя условія, и такого же совершенства мужицкой психологіи въ узкой сферѣ земледѣльческаго труда? Помните, какъ изъ „ржаного поля“ онъ выводитъ извѣстныя формы людскихъ отношеній и изъ привычекъ сига рыболовную артель? Помните, какъ, съ другой стороны, онъ беспощадно изображаетъ чудовищную психологію „Мишанекъ“, выбитыхъ изъ колеи традиціоннаго существованія? И помните, наконецъ, какимъ глубокимъ аккордомъ звучитъ его сопоставленіе двухъ раздѣленныхъ всѣмъ разстояніемъ цивилизаціи началъ: бессознательно-инстинктивнаго строя первоначальной общины и „союза всесторонне развитыхъ людей“ современной Европы:

Если культурный человѣкъ, послѣ всѣхъ усилій ума, воли и знанія, послѣ всѣхъ страданій, послѣ морей крови, придетъ къ тому же типу, который въ нашемъ крестьянствѣ уже есть, существуетъ во всей красѣ и силѣ — не завоеванныхъ имъ, а взятыхъ даромъ—тогда ужъ и самостоятельность, и независимость этого своей волей выбившагося изъ мрака и холода мукъ человѣка будетъ вѣковѣчная!.. Его не сокрушить *случай*, не сокрушить дуновение вѣтра, какъ сокрушастъ нашего теперешняго представителя этого типа, крестьянина («Безъ своей воли», III).

Какъ бы то ни было, вся эволюція, которой подвергалось наше крестьянство послѣ духовной смерти Успенскаго,—а эта эволюція, можетъ быть, была и довольно ощутительной, хотя мы и не знаемъ этого,—вся, говорю, эта эволюція не нашла себѣ выраженія въ нашей литературѣ, обнаруживающей поразительную бѣдность наблюденій изъ деревенскаго быта. Со словъ статистиковъ, особенно типа „учениковъ“, мы говоримъ теперь о пролетаризаціи, о разслоеніи деревни, о безповоротномъ крушеніи общины—и нѣтъ ни одного мало-мальски выдающагося беллетриста, который бы познакомилъ большую публику съ тѣмъ, что происходитъ на самомъ дѣлѣ въ крестьянствѣ. Въ то время, какъ крестьянскій вопросъ начинаетъ все болѣе и болѣе занимать умы представителей наиболѣе передовыхъ партій Европы, мы, съ своимъ громаднымъ деревенскимъ населеніемъ, остановились въ литературѣ на беллетристикѣ 80-хъ годовъ.

Прямо начинаешь опасаться, что это систематическое игнорированіе крестьянской жизни нашей „изящной“ литературой можетъ вызвать, наконецъ, по закону реакціи, такое же теченіе излишней идеализаціи деревни, освободиться отъ котораго было крупной исторической заслугой русской общественной мысли на рубежѣ 70-хъ и 80-хъ годовъ. И желаешь, въ видахъ правильнаго развитія соціальнаго идеала, чтобы нашлись художники,

которые, не сходя съ почвы трезваго анализа деревни, характеризовавшаго Успенскаго, занялись бы изображеніемъ дѣйствительной эволюціи, совершающейся въ современномъ крестьянствѣ. Общая отсталость деревни, оторванной всяческими неблагопріятными условіями отъ культурнаго движенія городскихъ центровъ; но на этомъ мрачномъ фонѣ все учащающіяся свѣтлыя точки умственнаго и нравственнаго развитія, охватывающаго молодую деревенскую интеллигенцію,—такова, по моему мнѣнію, дѣйствительная схема крестьянской эволюціи, которую должны будутъ облечь въ художественныя формы продолжатели Успенскаго. По крайней мѣрѣ, присматриваясь къ тому сравнительно немногому, что пишется теперь о деревнѣ, я считаю наиболѣе вѣроятнымъ это направленіе беллетристики. Въ частности меня навели на такую мысль двѣ вещи, помѣщенные въ ноябрьской книжкѣ „Русской Мысли“: это, съ одной стороны, сценки „Изъ лѣтописи голоднаго года“ г. Василія Якимова, а съ другой—не претендующій ни на какую беллетристику простой отчетъ о „Музыкальной экскурсіи Судосевцевъ“ г-жи В. С. Сѣровой.

Два небольшіе разсказа г. Якимова „Съ хорошимъ хлѣбомъ“ и „Антихристова помощь“ производятъ впечатлѣніе на читателя именно потому, что рисуютъ современную деревню, какъ она есть, и именно въ тотъ моментъ, когда обостреніе хроническаго процесса обнищанія крестьянства выбиваетъ совершенную по своей организаціи „галку“—человѣка изъ нормальныхъ условій существованія, подчеркивая и хорошія, и дурныя стороны его... Вотъ мы ѣдемъ съ авторомъ среди унылыхъ снѣжныхъ полей, морозной зимней ночью. Встрѣчается по пути маленькій несчастный мужиченко, котораго плохо защищаютъ отъ лютой стужи рваный полшубокъ и огромный дырявый же треухъ. Мужиченко усиленно прискакиваетъ отъ холода и, хотя ему остается еще верстъ двадцать до дому, отказывается отъ приглашенія проѣзжающихъ подвести: онъ грѣется ходьбой и боится застыть въ повозкѣ. Путники заночевали на постояломъ дворѣ, куда черезъ нѣкоторое время является и встрѣченный ими крестьянинъ. Въ избѣ человѣкъ двадцать мужиковъ и богатый кулакъ; изъ разговора авторъ узнаетъ, что въ ихъ мѣстахъ давно ужъ пекутъ хлѣбъ изъ муки, смѣшанной пополамъ съ желудями, а иные такъ прямо гнилушки въ ходъ пускаютъ. Мужиченко, въ свою очередь, уже не безъ нѣкоторой гордости сообщаетъ, что у него въ мѣшкѣ четыре короваго заправскаго, „хорошаго“ хлѣба, и что онъ несетъ ихъ своимъ ребятамъ. Торопясь побаловать дѣтей этимъ рѣдкимъ гостинцемъ, онъ не успѣлъ еще путемъ обогрѣться, какъ снова пускается въ дорогу, не смотря на удивленіе хозяина... Авторъ же заночевалъ и выѣзжаетъ лишь на слѣдующій день. Приближаясь къ деревнѣ, куда торопился мужиченко, путники встрѣчаютъ толпу народа: среди нея на саняхъ лежалъ

замерзшій человекъ, подобранный кѣмъ-то по дорогѣ,—то былъ счастливый владѣлецъ четырехъ короваевъ, такъ и не успѣвшій при жизни порадовать „хорошимъ“ хлѣбомъ дѣтишекъ, которыя стояли теперь возлѣ мертваго и горько плакали.

Сцена вторая. Въ деревнѣ свирѣпствуетъ голодъ, ходитъ цынга и прочія болѣзни. Приѣхавшимъ интеллигентамъ удалось устроить столовую, прежде всего для ребятъ, и вотъ уже нѣсколько дней блѣдныя изнуренныя лица дѣтей снова свѣтятся радостью. Не ѣдятъ только внучата бабушки Ненилы, которая сама упорно отказывается отъ предлагаемаго хлѣба и своимъ ребятамъ строго на^зстрога запретила брать его. Почему? Потому, что Ненила видѣла, какъ господа записывали въ книжку фамиліи голодающихъ, и сообразила, что то не сирота, что приѣзжіе подсланы Антихристомъ, который далъ имъ приказъ сначала кормить народъ, а потомъ „печати класть“ и губить души христіанскія. Ненила пользуется авторитетомъ: черезъ нѣсколько дней, въ антихристову столовую не пришло уже половины старухъ, которыя тоже не хотятъ изъ-за куска хлѣба лишиться царства небеснаго. И снова болѣзни съ удвоенною силою свирѣпствуютъ въ деревнѣ. Какъ-то интеллигенты, чтобы спасти Ненилиныхъ внучатъ отъ голодной смерти, забрались было въ избу къ дѣтямъ въ отсутствіе бабушки, и уже мальчикъ и дѣвочка жадно принялись глотать данный имъ хлѣбъ, какъ вдругъ на порогѣ появилась страшная, худая, покрытая отъ голоду какими-то зелеными пятнами Ненила и въ ужасѣ стала гнать „антихристову помощь“: „Не тронь... ступай... ступай... не погань дѣтскія душеньки“... Присутствовавшій при этомъ статистикъ—повидимому, изъ „учениковъ“,—жестоко разносилъ „идіотизмъ деревни“.

Двѣ сцены г. Якимова рисуютъ намъ психологію „галки“ съ ея положительными, но и съ ея отрицательными сторонами, вырастающими—и тѣ, и другія—изъ самыхъ основъ народной, оторванной отъ историческаго прогресса жизни, которая поставлена въ самыя тяжелыя условія и подавляетъ своимъ монотоннымъ гнетомъ рядового человека деревни. Этотъ человекъ далеко не лишенъ добрыхъ и самоотверженныхъ чувствъ, и фигура отца, который такъ просто, безъ всякихъ фразъ и лишней риторикки, уходитъ въ ночь и стужу, чтобы поскорѣе накормить голодающихъ ребятъ, въ состояніи пристыдить своей грубой, но могучей духовной красотой любого изъ родителей культурнаго общества, распространяющихся о слабости любви къ дѣтямъ. Съ другой стороны, вы видите средняго же человека деревни закованнымъ въ такія цѣпи традицій и обычаевъ, какія изслѣдователь культуры находятъ лишь на первыхъ ступеняхъ человѣческаго развитія.

И нельзя не указать на то, что этотъ традиціонный элементъ пересиливаетъ даже при извѣстныхъ условіяхъ самыя настоя-

нический комментарий к утрированной теории „экономического материализма“. Какъ дикарь умираетъ съ голоду возлѣ хлѣбнаго дерева, на которое почему-либо наложено табу, такъ Ненила погибаетъ голодною смертію и губитъ своихъ внучатъ, потому что традиціонная вѣра въ Антихриста пересиливаетъ у нея даже инстинктъ самосознанія. Ну не героиня-ли въ извѣстномъ смыслѣ эта женщина, для которой самый „вопросъ желудка“ отступаетъ на задній планъ передъ вопросомъ объ антихристовыхъ печатяхъ? Жаль лишь то, — жаль до слезъ ярости и негодованія на историческую судьбу крестьянства, — что этотъ героизмъ выражаетъ въ сущности только слѣпое повиновеніе традиціи. Стоило только Ненилѣ къ большой посылкѣ „Антихристъ губитъ души“ присоединить малую „этотъ хлѣбъ Антихристовъ“, чтобы вывести заключеніе — и мало того, приложить его немедленно къ себѣ и близкимъ — „лучше голодная смерть, чѣмъ такая помощь“. И опять-таки сама по себѣ эта послѣдовательность, эта непреклонность воли показываетъ, что культурнымъ людямъ есть чему поучиться у народа въ смыслѣ энергіи характера. Желалъ лишь, чтобы онъ самъ выучился прилагать эту энергію на пользу себѣ; а для этого нужна работа сознанія.

Надо, впрочемъ, замѣтить, что въ искаженномъ видѣ сознаніе все же работаетъ у Ненилы: уже для того, чтобы построить малую посылку, надо было извѣстное разсужденіе, — нелѣпое, дѣтское, но все же разсужденіе. Заставьте Ненилу отдѣлаться отъ большихъ посылокъ традиціи, выучите ее строить рациональныя малыя послышки, и общественная энергія массъ выльется въ жизненномъ и прогрессивномъ заключеніи. Надъ этимъ преобразованиемъ народной логики и работаетъ у насъ культурный прогрессъ, который медленно просачивается въ деревню и который долженъ быть, въ видахъ скорѣйшаго общенациональнаго развитія, замѣненъ сознательнымъ и инициативнымъ вліяніемъ города на деревню. Отложимъ, однако, въ сторону нетерпѣніе, и посмотримъ, какъ же все-таки этотъ прогрессъ дѣйствуетъ на крестьянство. Не наша вина, если тѣ свѣтящіяся точки на общемъ темномъ фонѣ, о которыхъ говорилось раньше, выражаются пока въ волшебныхъ фонаряхъ, мало интересныхъ чтеніяхъ и, въ лучшемъ случаѣ, театральныхъ представленіяхъ, исполняемыхъ подрастающей деревенской интеллигенціей, въ родѣ, напр., знаменитой труппы судосевцевъ (Симбирской губ.), артистическое путешествіе которой живо описала въ „Русской Мысли“ г-жа Сѣрова.

Я совѣтую читателю познакомиться съ этой одиссеей не потому, чтобы гастролировавшіе въ Пензѣ и Симбирскѣ деревенскіе актеры представляли сами по себѣ что-нибудь удивительное въ сценическомъ отношеніи. Но эти парни, эти дѣвушки, эти ребята, готовые къ репетиціи въ вагонѣ желѣзной дороги, исполняющіе оперы въ губернскихъ городахъ и интересующіе

публику свѣжестью и искренностью игры, участвующіе въ торжественныхъ обѣдахъ послѣ спектакля и говорящіе рѣчи своей руководительницѣ, являются предвѣстниками, первыми ласточками той идеальной весны, которая ждетъ великій народъ, когда исчезнутъ преграды, разобщающія его съ культурною жизнью. Народъ поставлялъ уже во время крѣпостничества талантливыхъ актеровъ; но поставлялъ ихъ, повинуюсь прихоти господъ, которые сегодня аплодировали доморощеннымъ Тальмамъ, а на завтра, за малѣйшую оплошность, ссылали первыхъ любовниковъ въ пастухи или запарывали до смерти примадоннъ. Теперь народъ, правда, лишь въ отдѣльныхъ благопріятныхъ случаяхъ, выдѣляетъ изъ себя персоналъ, который—и въ этомъ оригинальность труппы, въ родѣ судосевской,—не рветъ своихъ связей съ родной деревней и въ то же время пріобщается къ цивилизаціи и начинаетъ скрашивать эстетическимъ идеаломъ доселѣ неподвижный, суровый міръ мужицкой дѣйствительности, гдѣ такъ совершенно исполняютъ свою первобытную функцію общинники-„галки“, но такъ далеко заходятъ по пути „наивныхъ ужасовъ“ (подлинное выраженіе самого Успенскаго) выбитые изъ мірской колеи „Мишаньки“. И снова, и снова вспоминаешь гениальнаго наблюдателя нашего крестьянства и его мысль о „союзѣ всесторонне развитыхъ людей“, который долженъ сочетать примитивную солидарность общины и самостоятельность развитой личности, вновь осуществляя такимъ образомъ старый „золотой вѣкъ“, служившій предметомъ народныхъ легендъ и античной поэзіи...

Признаться, когда я дописывалъ эту часть своего обзора, я уже рѣшилъ познакомить читателя съ статьей г. О. О. Базинера, посвященной какъ разъ „Идеѣ о прошедшемъ и будущемъ золотомъ вѣкѣ человѣчества“ и помѣщенной все въ той же ноябрьской книжкѣ „Русской Мысли“. Эта статья представляетъ собою воспроизведеніе двухъ публичныхъ лекцій, читанныхъ г. Базинеромъ въ варшавскомъ университетѣ и, повидимому, является главой изъ приготовляемаго авторомъ къ печати сочиненія „Эволюція идеи о прогрессѣ человѣчества у древнихъ“. Г. Базинеръ снабдилъ свою статью ученымъ аппаратомъ: цитатами изъ древнихъ авторовъ и простыми ссылками на мѣста изъ нихъ, говорящія о „золотомъ вѣкѣ“, а также указаніями на современные сочиненія, трактующія объ этомъ интересномъ вопросѣ.

Я сейчасъ скажу насчетъ этихъ цитатъ, а сначала познакомлю читателя въ двухъ словахъ съ основной мыслью г. Базинера. Она такова. Все, что говорится о „золотомъ вѣкѣ“ въ народныхъ сказаніяхъ и у древнихъ поэтовъ, должно быть отнесено къ области чистѣйшихъ мифовъ. Мифы эти возникли изъ культа солнца, луны и вообще небесныхъ свѣтилъ, эпитеты которыхъ, указы-

вавшіе на ихъ полезныя, величественныя и благотворныя свойства, были перенесены потомъ на созданные поэзіей образы якобы когда-то жившихъ (или имѣющихъ жить въ другомъ мірѣ) идеальныхъ людей. Посему, когда разные мыслители, „въ особенности социалисты и коммунисты“, стали подносить публикѣ фантастическія сочиненія насчетъ возможности снова водворить „золотой вѣкъ“ на землѣ,—разъ, молъ, онъ уже существовалъ когда-то,—то эти не основанныя ни на чемъ картины идеальнаго общежитія должны были получить „пагубное значеніе“ для читающихъ и увлекающихся этимъ людей. Г. Базинеръ считаетъ долгомъ предостеречь противъ такого увлеченія и, дѣйствительно, предостерегаетъ. Какъ онъ предостерегаетъ, на этомъ намъ особенно нечего останавливаться: намъ съ читателемъ дѣла нѣтъ до злокозненныхъ „социалистовъ и коммунистовъ“. Одно можно сказать: разсужденія автора и очень стары, и очень странны. Сказать съ болѣе или менѣе торжествующимъ видомъ: „абсолютнаго блаженства вообще не существуетъ и не можетъ существовать для человѣка“ (стр. 33), значитъ выступить въ роли рыцаря Печальнаго Образа, ополчающагося противъ вѣтреныхъ мельницъ. А насчетъ психологіи такихъ рыцарей изъ лагеря защитниковъ современнаго строя, которые громыхаютъ въ васъ абсолютомъ, когда вы говорите о необходимости относительнаго человѣческаго счастья,—насчетъ этой психологіи насъ поучаютъ давнишніе стихи:

Воевать пришла охота,
Воевать по самый гробъ,—
Дайте-жъ латы Донъ-Кихота
И педанта свѣтлый добъ!..

Извиняясь передъ ученымъ г. Базинеромъ за пословицу, изъ которой словъ не выкинешь, я перейду къ его цитатамъ. Меня поразило вотъ что: авторъ, судя по его ссылкамъ, долженъ-бы быть человѣкомъ начитаннымъ и не только въ „латынскихъ и эллинскихъ философахъ“, но и въ современныхъ сочиненіяхъ—по социально-политическимъ вопросамъ. Какъ же ему осталась неизвѣстною мысль о господствѣ коммунистическаго строя и родового быта на порогѣ человѣческой исторіи,—мысль, которая наиболѣе серьезными социологами нашихъ дней считается гипотезою, ближе всѣхъ подходящею къ истинѣ? Интересно, дѣйствительно, что г. Базинеръ говоритъ о „золотомъ вѣкѣ“, о тогдашнемъ блаженствѣ людей, и т. д., но ни однимъ словомъ (если не считать упоминанія о юбилейномъ годѣ у евреевъ) онъ не обмолвился насчетъ этой особенности первобытной культуры. А между тѣмъ, она подчеркивается изслѣдователями въ родѣ Бахофена, Макъ-Леннана, Моргана, Леббока, Мина, Гомма, Глассона, Дареста, Віолле, Лавеле, Липперта, Маурера, Нассе, Ковалевскаго, Зибера и т. д.,

и т. д. и гораздо проще и вѣроятнѣе объясняетъ циклъ преданій о первоначальномъ счастьи людей, чѣмъ всѣ эти солнца и звѣзды? Г. Базинеръ повѣтствуетъ вотъ все о равноправности, о мирѣ, о веселіи легендарныхъ людей золотого вѣка, на основаніи приводимыхъ имъ цитатъ, и, повидимому, не подозрѣваетъ, что упомянутые нами ученые лучшимъ подборомъ ссылокъ уже давно доказали, какъ легендарная оболочка сказаній скрываетъ въ данномъ случаѣ—лишь глубоко реальное зерно первобытнаго коллективизма и родового строя.

Мы не должны, дѣйствительно, забывать, что въ узкихъ предѣлахъ клана эта организація осуществляла гораздо лучше благополучіе людей, чѣмъ послѣдующія стадіи общественной эволюціи, когда распались старыя родовыя узы, и индивидуумъ былъ брошенъ въ борьбу за свои интересы съ другими членами общества, при чемъ эта всеобщая свалка ослаблялась лишь столкновеніемъ болѣе крупныхъ группъ, сословій и классовъ, и подавлялась, но не уничтожалась принудительнымъ гнетомъ государства. Не любопытно-ли, что римскіе писатели въ родѣ Цезаря и Тацита пользовались даже въ своихъ описаніяхъ существовавшимъ въ ту пору общинно-родовымъ бытомъ германцевъ чтобы идеализировать ихъ соціальный строй и ихъ морально, политическую мудрость, отчасти даже прямо въ пику своимъ соотечественникамъ (особенно у Тацита)? Кому, не говорю уже изъ соціологовъ, но изъ серьезныхъ филологовъ не извѣстно знаменитое мѣсто изъ историка Юстина, который, говоря о скифахъ, не обладавшихъ землею на правахъ частной собственности, восхищается этимъ учрежденіемъ и выражаетъ все свое удивленіе по поводу того, какъ природа дала этимъ грубымъ варварамъ то, чего греки не могутъ добиться *longa sapientium doctrina praeseptisque philosophorum* („долгимъ ученіемъ мудрецовъ и наставленіями философовъ“) и въ чемъ *cultos mores incultae barbariae collatione superari* („цивилизованные нравы побѣждаются сравненіемъ съ дикимъ варварствомъ“: вспомните, кстати, нашего Успенскаго и его разсужденія о „галкѣ“-общинникѣ и „культурномъ человѣкѣ“ Запада)? И,—переходя въ область легенды,—развѣ тотъ же самый Юстинъ не останавливается съ видимымъ удовольствіемъ на эпохѣ „царя Сатурна“, когда не было ни рабства, ни частной собственности, а земля была общимъ достояніемъ всѣхъ? И знаменитый апологетъ Лактанцій развѣ не выражаетъ искренней христіанской симпатіи къ тѣмъ временамъ, когда считалось безбожнымъ поступкомъ ставить пограничные столбы между полями и захватывать ихъ въ частную собственность?

Дѣло въ томъ, что г. Базинеръ, кажется, и не подозрѣваетъ, въ какой степени окружавшій античную цивилизацію міръ варваровъ, да отчасти и сама эта цивилизація кишѣли какъ разъ тѣми формами общежитія, въ которыхъ выражался, по мнѣнію

народа и поэтовъ, „золотой вѣкъ“, и которыя, къ сожалѣнію, не остановили на себѣ вниманія автора. Онъ приводитъ, напр., цитату изъ Лукреція о „землѣ, на участки межами уже раздѣленной“ (единственную цитату, если не ошибаюсь, гдѣ г. Базинеръ даетъ читателю возможность взглянуть на аграрный строй „золотого вѣка“ *); а это, конечно, предполагаетъ время, когда межей еще не было. Но развѣ отсутствіе межей было уже такой рѣдкостью въ античномъ мірѣ? Мы видѣли, что этимъ аграрнымъ режимомъ характеризовались, напр., земельныя отношенія германцевъ и скифовъ. Но сколько можно найти другихъ такихъ же примѣровъ у историковъ и географовъ древности, нѣкоторые, по крайней мѣрѣ, изъ которыхъ, отличались вѣрностью въ передачѣ наблюдаемыхъ явленій.

Такъ, ежегодный передѣлъ земель, кромѣ германцевъ, практиковался у древнихъ египтянъ (Геродотъ), у ваккеевъ (Vassaei. *Οβαχαιοι*), жившихъ на Иберійскомъ полуостровѣ, о которыхъ Діодоръ сообщаетъ, кромѣ того, что всѣ продукты складывались ими въ общественные магазины, и каждый получалъ свою часть, но подвергался смертной казни за нарушеніе обязательнаго для всѣхъ закона равенства. У далматовъ земля тоже передѣлялась, хотя уже черезъ восемь лѣтъ (Страбонъ). Эти же самые далматы совершенно не знали денегъ, т. е. напоминали въ этомъ отношеніи людей „золотого вѣка“. Спартанцы, критяне, мегаряне, аргияне, аркадяне, южные италіоты славились учрежденіемъ общественныхъ столовъ, и уже извѣстный читателю Юстинъ хочетъ видѣть въ пиршествахъ сатурналій, на которыхъ „уравнивались права всѣхъ“ и „рабы возлежали за столомъ вмѣстѣ съ господами“, умышленное упоминаніе (*ob cuius exempli memoriam*) объ общности имуществъ и отсутствіи рабства. У Діодора находится очень интересный разсказъ о захватѣ Липарійскихъ острововъ выходцами изъ Книда и Родоса, разсказъ, представляющій тѣмъ большее значеніе, что здѣсь учрежденія „золотого вѣка“ рисуются дѣломъ людей желѣзнаго вѣка и относятся къ историческому времени, а именно VI-му вѣку до Р. Х. Борясь противъ этрусскихъ пиратовъ, родосцы раздѣлились на двѣ части, одна изъ которыхъ воевала, другая обрабатывала сообща землю и кормила себя и воиновъ (фактъ, совершенно аналогичный тому, что Цезарь разсказываетъ насчетъ свевовъ). Мало того, они сложили вмѣстѣ всю свою движимость и обѣдали за общимъ столомъ. Даже и тогда, когда они подѣлили островъ Липари, близъ лежащіе острова остались въ общемъ владѣніи; затѣмъ установились передѣлы, повидимому, черезъ каждые двадцать лѣтъ.

*) Надо-ли думать, что авторъ не просмотрѣлъ самъ тѣхъ мѣстъ изъ Тибулла, Virgilія, Овидія, на которыя онъ дѣлаетъ простыя ссылки (см. стр. 9) и которыя рисуютъ намъ именно аграрный коммунизмъ.

Словомъ, нѣтъ, кажется, такого писателя древности, у котораго нельзя было бы найти указаній не на мнѣическій только золотой вѣкъ, но на конкретныя черты первобытнаго коммунизма, именно и давшего поводъ народнымъ легендамъ и поэтическимъ сказаніямъ о минувшемъ счастьи. Я, конечно, и не думалъ спеціально въ бѣгломъ обзорѣ исчерпать вопросъ, но счелъ долгомъ указать на немногія вещи, которыя припомнились при чтеніи статьи г. Базинера и могли быть даны мною безъ особыхъ справокъ по источникамъ. Но и того, что читатель видѣлъ, достаточно, какъ намъ кажется, для надлежащей оцѣнки взглядовъ г. Базинера, категорически утверждающаго, будто легенды о „золотомъ вѣкѣ“ не имѣютъ никакого фактическаго основанія подъ собою.

Еще одно замѣчаніе: какъ вамъ нравится это объясненіе общественныхъ чертъ „золотого вѣка“ перенесеніемъ эпитетовъ съ небесныхъ свѣтилъ на мнѣическихъ людей? Называйте солнце и свѣтлымъ, и благотворнымъ, и какимъ угодно. Но, спрашивается, почему же перенесенная на людей благотворность, и доброта, и свѣтлость должны были заключаться по мнѣнію составителей легендъ въ такихъ чертахъ, которыя связываются съ отсутствіемъ частной собственности, рабства, денежнаго обмѣна, враждующихъ богатыхъ и бѣдныхъ и т. п.? Откуда эти столь опредѣленные черты счастливаго общежитія пришли въ голову поклонникамъ солнца и прочихъ небесныхъ тѣлъ? И если, наоборотъ,—какъ учить современная этнологія,—человѣкъ начинаетъ съ антропоцентризма и антропоморфизма, если онъ переноситъ свои умственные, аффективные и волевые процессы на окружающую природу, то не должно ли предположить, что самые эпитеты въ родѣ „благотворный“, „славный“, „добрый“, „могучій“ и т. п., при-мѣняемые къ солнцу, являются ни больше, ни меньше, какъ метафорическимъ выраженіемъ тѣхъ ощущеній, которыя человѣкъ испытываетъ прежде всего въ кругу себѣ подобныхъ? Не космогонія истолковываетъ человѣческую психологію, но, наоборотъ, психологія даетъ матеріалъ для космогоніи; не религія предшествуетъ общественному человѣку, но общественный человѣкъ религіи. И думать подобно г. Базинеру, значить вывертывать человѣческое существованіе наизнанку. Статьи въ родѣ только что разобранной нами лишній разъ показываютъ, въ какой степени философскія и чисто литературныя знанія недостаточны для пониманія общественно-философскихъ вопросовъ, которые требуютъ, наоборотъ, для своего рѣшенія знакомства съ социальными и антропологическими науками.

Указывая читателю на романъ г. Валер. Свѣтлова „Въ Будаевской усадьбѣ“, помѣщенный въ декабрьской книжкѣ „Вѣст.

ника Европы“, я не могу подавить чувства сожалѣнія, вызываемаго этимъ романомъ, который, кстати сказать, не столько романъ, сколько длинная повѣсть: такая интересная тема и такое неудачное выполненіе! Авторъ поставилъ передъ собой, если не совсѣмъ новую, то, повторяю, очень интересную задачу: показать, какой сложный процессъ приспособленія долженъ происходить въ душѣ мужчины и женщины, чувствующихъ любовь другъ къ другу, но раздѣленныхъ всѣмъ разстояніемъ умственныхъ и нравственныхъ привычекъ двухъ различныхъ культуръ, и какую тяжесть испытываютъ при этомъ процессѣ приспособленія обѣ стороны, даже если онѣ испытываютъ самое искреннее взаимное тяготѣніе. Мнѣ очень понравилось также, что г. Свѣтловъ беретъ эту психологическую проблему въ ея, если можно такъ выразиться, человѣческой, а не животной формѣ, раздѣляя героя и героиню не столько пресловутыми расовыми особенностями, сколько несходствомъ двухъ цивилизацій.

Пьеръ Лоти, напримѣръ, посвятилъ цѣлый рядъ своихъ романовъ изображенію фатальныхъ недоразумѣній, возникающихъ между европейцемъ и различными черными, желтыми и коричневыми красавицами, съ которыми онъ сходится, находясь вдали отъ родины и чувствуя потребность въ близкомъ и любящемъ существѣ. Но этотъ романистъ избираетъ дѣйствующими лицами черезчуръ далеко отстоящихъ въ этническомъ смыслѣ другъ отъ друга субъектовъ и при томъ сводитъ весь процессъ сближенія чуть не къ голому фізіологическому стремленію. Г. Свѣтловъ избѣжалъ этой обнаженности вопроса и, наоборотъ, поставилъ его въ гораздо болѣе человѣчномъ, но тѣмъ болѣе трагическомъ освѣщеніи: вотъ вамъ, какъ бы говоритъ онъ, люди добрые, хорошие, развитые, подвергшіеся вліянію общечеловѣческихъ идей, составляющихъ основу цивилизаціи во всемъ культурномъ мірѣ, люди, которые вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуютъ сильное аффективное влеченіе другъ къ другу. Казалось бы, чего проще и лучше, какъ не сблизиться имъ для взаимной поддержки и хорошей человѣческой любви. Отчего же, однако, имъ такъ трудно сговориться? И отчего, когда они согласны въ общемъ идейномъ основаніи, на днѣ ихъ души остается какой то неразложимый осадокъ культурныхъ вкусовъ и привычекъ, который мѣшаетъ имъ, дѣйствительно, быть „двумъ въ плоть едину“? Именно эту трагедію долженъ изображать романъ г. Свѣтлова, который ставитъ лицомъ къ лицу героя, хорошую и развитую русскую дѣвушку, и героя, русскаго по отцу, англичанина по матери, живущаго все время въ Англіи и воспринявшаго особенности англійской культуры.

Такова положительная сторона произведенія, которому, говорю еще разъ, нельзя отказать въ интересной постановкѣ вопроса. Но, къ сожалѣнію, выполненіе сюжета заставляеть же-

латъ столь многого, что искренно жалѣешь, зачѣмъ авторъ бросилъ свой „романъ“ читателямъ въ этомъ недоношенномъ видѣ и испортилъ тему, заслуживающую самого серьезнаго вниманія и вносящую свѣжую ноту въ избитую исторію любовныхъ приключеній „его“ и „ея“. Зачѣмъ, напримѣръ, г. Свѣтлову понадобилось сдѣлать изъ пріѣхавшаго временно на родину владѣльца Будаевской усадьбы чиновника русскаго посольства въ Лондонѣ? Можно-ли считать типичнымъ выразителемъ англійской культуры человека, который можетъ лишь постольку отражать собою своеобразную, но могучую цивилизацію Англіи, поскольку это позволить ему его оффиціальное положеніе? Это возраженіе не простая придирка и получаетъ особенное значеніе какъ разъ въ виду того, что наши оффиціальныя представители за границей выражаютъ оффиціальную же Россію, крайне не сходную съ міромъ западно-европейской культуры; а это мѣшаетъ имъ надлежащимъ образомъ оцѣнивать и особенности цивилизаціи, среди которой имъ приходится постоянно жить, да въ то же время и свою собственную родину, которую они видятъ лишь сквозь очки дипломата и чиновника иностранныхъ дѣлъ. Не мудрено поэтому, что, не смотря на желаніе автора сдѣлать своего героя интереснымъ, въ рѣчахъ Будаева слышится не только удивленіе передъ непривычными для него явленіями подлинной Россіи, особенно Россіи глухой и провинціальной, но и чиновническое презрительное отношеніе къ живымъ людямъ, надъ которыми оперируетъ рука администраціи. И, если хотите, это впечатлѣніе, вызываемое въ читателѣ Будаевымъ, можно даже поставить въ положительную заслугу художественному чутью автора, который противъ своей воли, инстинктивно, вложилъ это міросозерцаніе въ душу неудавшагося англичанина.

Плоха и героиня, и плоха опять таки не смотря на видимыя старанія автора окружить ее поэтическимъ ореоломъ. Ея дѣятельность въ народѣ и ея разсужденія о народѣ часто носятъ на себѣ тотъ карикатурный отпечатокъ, который наши „ученики“ любили умышленно накладывать на „народниковъ“, опять-таки благодаря смѣшенію въ одну кучу людей очень различнаго міровоззрѣнія. Эта дочь управляющаго Будаевской усадьбы зачастую ведетъ въ честь народа такія пылкія, но не особенно любимыя русскимъ интеллигентомъ „чувствительныя“, а порою даже „патріотическія“ рѣчи, что удивляешься, почему она могла такъ заинтересовать пріѣзжаго англичанина,—въ свою очередь, впрочемъ, какъ уже было сказано, представляющаго деревянную чиновническую куклу. Такъ что, пожалуй, по Сенькѣ шапка...

Ученое имя г. Романовича-Славатинскаго, который останется въ памяти серьезныхъ читателей со своею во всякомъ случаѣ

добросовѣстною книгою о „Дворянствѣ въ Россіи“, заставило меня съ большимъ нетерпѣніемъ взяться за его воспоминанія въ „Вѣстникѣ Европы“, озаглавленные „Моя жизнь и академическая дѣятельность“. Меня въ особенности интересовали эти воспоминанія потому, что не такъ давно я прочиталъ теплую и сочувственную статейку г. Романовича-Славатинскаго о покойномъ Н. И. Зиберѣ въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“. Увы, воспоминанія ученаго профессора, помѣщенные въ январьской, февральской и мартовской книжкахъ журнала, доводятъ насъ уже до 1860 г. и перваго путешествія г. Романовича-Славатинскаго за границу, но своимъ содержаніемъ разочаровываютъ читателя. Не то, чтобы въ нихъ не было ничего интереснаго, но это интересное затеряно въ массѣ подробностей, которыя больше интересны для самого автора воспоминаній, чѣмъ для читателей.

Дѣло въ томъ, что у людей, которые имѣютъ позади себя уже длинное прошлое, замѣчается порою потребность останавливаться почти съ одинаковою охотою и одинаковымъ чувствомъ любви къ золотому прошлому и на существенныхъ, и на второстепенныхъ, а порою даже на самыхъ мелкихъ вещахъ. Можно понять эту психологію любовнаго отношенія къ тому, что дорого и миновало:

Побудь со мной, продли очарованья,
Дай сладкаго вкусить воспоминанья.

Но читателю, которому, конечно, не достаетъ тѣхъ нитей ассоціаціи идей, что придаютъ смыслъ и краски самымъ незначительнымъ событіямъ, читателю, говорю я, это отсутствіе перспективы и, если можно такъ выразиться, іерархіи въ сообщаемыхъ фактахъ мѣшаетъ чувствовать сплошной интересъ къ такимъ воспоминаніямъ, и отъ времени до времени онъ даже дѣлаетъ усилія надъ собой, чтобы добросовѣстно разматывать вмѣстѣ съ авторомъ эти кружева прошлаго. Въ воспоминаніяхъ г. Романовича-Славатинскаго читатель найдетъ, несомнѣнно, не мало характерныхъ чертъ изъ давно минувшей, хотя бы, напр., изъ дореформенной эпохи. Но часто эти черты приходится выщелушивать изъ подробнаго разсказа о вещахъ, мало говорящихъ уму и сердцу посторонняго. Порою г. Романовичъ-Славатинскій подчеркиваетъ даже именно словно нарочно эти ненужности, когда дѣло идетъ объ интересныхъ событіяхъ и людяхъ. Такъ, онъ описываетъ свои два свиданія съ Герценомъ, и наиболѣе замѣчательное, что онъ сообщаетъ о славномъ русскомъ публицистѣ, сводится къ разговору о „русскихъ ватрушкахъ, загнутые края которыхъ, какъ вспомнилъ самъ Герценъ, поджарены“. Я пропускаю, кромѣ того, въ воспоминаніяхъ г. Романовича-Славатинскаго, два—три мѣста, которыя, по моему мнѣнію, по крайней мѣрѣ, странны (на счетъ жестоко-

сти (?) Пестеля, насчетъ роли Салтыкова и Некрасова въ сношеніяхъ съ „казенными либералами“ и т. п.). Авторъ, повидимому, случайно выложилъ ихъ на бумагу; не будемъ и мы ставить каждое лыко въ строку, и выразимъ надежду, что воспоминанія г. Романовича-Славятинскаго будутъ болѣе интересны, когда онъ приблизится къ не столь давно прошедшимъ временамъ.

Къ исторіи эволюціи нашего марксизма. „Русская Мысль“ справедливо замѣтила, что „Міръ Божій“ въ длинномъ рядѣ статей обнаружилъ склонность къ „абсолютизму въ метафизическомъ смыслѣ“. Желая парировать этотъ ударъ, „Міръ Божій“ (мартъ, стр. 40) съ торжествомъ вытаскиваетъ изъ письма Чернышевскаго къ Гольцеву (январская книжка „Русской Мысли“) нѣсколько фразъ въ родѣ: „въ программу журнала не могутъ входить никакія рѣшенія никакихъ вопросовъ, кромѣ вопросовъ общественной жизни націи. Для него необязательно признавать или порицать не то, что дарвинизмъ, а хотя бы даже систему Коперника“. Отсюда „Міръ Божій“ выводитъ свое право на занятіе „метафизическимъ абсолютизмомъ“. Оставимъ въ сторонѣ Чернышевскаго, который нуждается въ болѣе внимательномъ обращеніи, чѣмъ вырываніе отдѣльныхъ фразъ изъ отдѣльнаго письма. Поставимъ два вопроса „Міру Божію“. Вопросъ первый. Онъ журналъ для „самообразованія“, и многіе читатели, пробуждающіеся къ сознательной жизни, читаютъ популярныя статьи по естествознанію въ этомъ органѣ: спрашивается, будутъ ли эти читатели имѣть счастье найти на его столбцахъ защиту не коперниковской, а, напр., птоломеевской системы подъ тѣмъ предлогомъ, что Чернышевскій въ своей бутадѣ сказалъ о необязательности признанія системы Коперника? Вопросъ второй. Неужели „Міръ Божій“ серьезно полагаетъ, что „метафизическій абсолютизмъ“ не принадлежитъ къ числу „вопросовъ общественной жизни націй“, такъ что, напр., если г. Булгаковъ разводитъ свои славянофильскія идеи на основаніи упомянутаго „метафизическаго абсолютизма“, то мы можемъ преспокойно идти рука объ руку съ этимъ отечественнымъ мыслителемъ, ибо, де, его взгляды не зачислены по вѣдомству „вопросовъ общественной жизни націй“?..

В. Г. Подарскій.